ВИЗАНТИЙСКАЯ ЛЮБОВНАЯ ПРОЗА



АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Литературные Памятники



ВИЗАНТИЙСКАЯ ЛЮБОВНАЯ ПРОЗА

АРИСТЕНЕТ
«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА»

ЕВМАТИЙ МАКРЕМВОЛИТ
«ПОВЕСТЬ ОБ ИСМИНИИ И ИСМИНЕ»



ПЕРЕВОД С ГРЕЧЕСКОГО,
СТАТЬЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
С. В. ПОЛЯКОВОЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА · ЛЕНИНГРАД
1 9 6 5

Ответственный редактор
член-корреспондент АН СССР
Д. С. ЛИХАЧЕВ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Книга знакомит читателей с двумя памятниками византийской прозы: «Любовными письмами» Аристенета (VI в.) и «Повестью об Исминии и Исмине» Евматия Макремволита (XII в.), не переводившимися ранее на русский язык (перевод Евматия, появившийся в XVIII в., был сделан не с оригинала, а с французской салонной переделки).

Оба эти произведения принадлежат к немногочисленной категории памятников, свободных от сухости, назидательности, аскетизма, которые обычно определяют представление о византийской литературе. Наоборот, читатель встретит в них удивительную полнокровность, приятие жизни и свободу мироощущения, не скованную христианской религией и моралью, мир, где господствует не Христос, а Эрот.

«Письма» Аристенета — сборник фиктивных писем, в которых излагаются маленькие любовные новеллы или связанные с любовной темой эпизоды. «Письма» возникли в ранневизантийское время, еще очень тесно связаны с древнегреческой литературой и следуют ей, сохраняя в пересказах и переделках дошедшие до нас, а также безвозвратно утраченные произведения древних.

Роман Евматия, повествующий о любви, разлуке, приключениях и воссоединении любящей пары, тоже опирается на античное наследие, но, написанный много позднее, подвергает свой источник коренной переработке в духе эстетических принципов своего времени.

Занимательность, жизнеутверждающий дух, заметная роль в формировании европейского романа и новеллы в сочетании со стилистическими достоинствами памятников, надо надеяться, привлекут внимание не только к ним, но также к византийской литературе, незаслуженно малопопулярной в кругах неспециалистов.

Считаю своим приятным долгом поблагодарить А. Н. Егунова за неоценимую помощь в моих занятиях Евматием и Аристенетом. Внимательнейшая редактура переводов не только украсила их, сколько было возможно, но и дала переводчику случай познакомиться с образцами такой тонкой интерпретации подлинника, которая навсегда останется у него в памяти; в статьях и примечаниях также не раз были использованы советы

А. Н. Егунова. Особую благодарность я выражаю за сделанные им переводы стихотворных цитат из романа Евматия и 23-го письма второй книги Аристенета.

Приношу глубокую благодарность также Д. С. Лихачеву за неизменное внимание к моей работе.

В заключение благодарю моих друзей И. В. Феленковскую, С. П. Маркиша и А. П. Каждана за замечания, высказанные ими при чтении рукописи, а Г. Г. Шмакова за перевод двух стихотворных цитат.

С. Полякова.

АРИСТЕНЕТ
«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА»

КНИГА ПЕРВАЯ

1

Аристенет Филокалосу[1]

Лаиду,[2] мою любимую, хотя и превосходно создала природа, но всего прекраснее ее убрала Афродита и сопричислила к хороводу Харит.[3] Золотой же Эрот[4] научил мою желанную без промаха метать стрелы своих очей. Прекраснейшее творение природы, слава женщин, живое подобие Афродиты! Щеки у нее (чтобы по мере сил описать словами влекущую прелесть Лаиды) — белизна, смешанная с нежным румянцем, и напоминает этим сияющий блеск роз. Губы нежные, слегка открытые и цветом темнее щек. А брови черные, непроглядной черноты; отделены они друг от друга расстоянием должной меры. Нос прямой и столь же нежный, как губы. Глаза большие, блестящие, источающие чистый свет. Чернота их — чернейшая, а вокруг белизна — белейшая. Оба эти цвета спорят друг с другом и, столь несхожие между собой, рядом выигрывают. Здесь обитают Хариты, и здесь им можно поклоняться. Волосы от природы вьющиеся, подобные, как говорит Гомер, цветку гиацинту,[5] а ухаживают за ними руки Афродиты. Шея бела, соразмерна, и даже если б вовсе была лишена украшений, привлекала бы своей нежностью. Но ее обвивает ожерелье из драгоценных камней, на котором написано имя красавицы: сочетание камешков образует буквы. К тому же Лаида хорошего роста. Одежда ее красива, в пору ей, хорошо сидит. Одетая, Лаида лучше всех лицом, раздетая — вся, как ее лицо.[6] Ступает она плавно, но шаги мелкие, точно тихо колеблется кипарис или финиковая пальма:[7] красота ведь по природе исполнена достоинства. Но их, поскольку они деревья, движет веяние зефира, а ее покачивают дуновения Эротов. Знаменитые живописцы, насколько у них хватало уменья, стремились нарисовать Лаиду: когда им надо было изобразить Елену, Харит или самое их владычицу, они глядели

на отображенную ими Лаиду как на образец совершенной красоты и с нее рисовали достойные богов образы, которые стремились воплотить.[8] Я чуть было не упустил сказать, что груди Лаиды, подобные кидонским яблокам,[9] грозят разорвать сдерживающую их повязку. Однако ее члены так соразмерны и нежны, что при объятии кажется, будто кости способны влажно гнуться.[10] Своей податливостью они почти не отличаются от плоти и сгибаются, когда их любовно сжимаешь. А когда она заговорит, ах, сколько Сирен в ее речи, какой словоохотливый язык! Конечно, Лаида опоясана волшебным поясом Харит,[11] и даже улыбка ее привораживает. Сам Мом[12] не нашел бы и ничтожного недостатка в моей красавице, роскошествующей в богатстве своей прелести. Но как могло статься, что Афродита удостоила меня такой подруги? Ведь не предо мною богиня состязалась в красоте, не я счел ее прекраснее Геры и Афины, не я вручил ей яблоко, победную награду в споре, она просто подарила мне эту Елену.[13] Владычица Афродита, какое жертвоприношение совершить тебе в благодарность за Лаиду? Все, кто видит ее, так в восхищении молят богов, желая отвратить от нее несчастья: «Зависть прочь от такой красоты, прочь злые чары от ее прелести». Столь хороша Лаида, что у встречных загораются глаза. Даже глубокие старики с восхищением смотрят на нее, как старейшины Гомера глядели на Елену,[14] и восклицают: «О если б нам на счастье досталась она в наши молодые годы, ах, начать бы нам жить снова! Понятно, что эта женщина на устах у всей Эллады, раз даже немые киванием головы говорят друг другу о ее красоте». Не знаю, что сказать и чем кончить. Однако кончаю, пожелав моему описанию самого главного — обаяния Лаиды, из-за страстной любви к которой, знаю, теперь я много раз повторил милое мне имя.

2[1]

Прошлым вечером, когда я в каком-то переулке пел свои песни, ко мне подошли две девушки; в их взгляде и улыбке[2] сквозила прелесть Эрота, и только числом они уступали Харитам. Горячо споря друг с другом, простодушные девушки стали спрашивать меня: «Раз уж ты искусным пением заставил нас тяжко страдать от стрел Эрота, скажи, ради своих песен, которые нам обеим исполнили любовью уши и сердце, кому из нас они предназначены? Ведь каждая уверяет, что любят ее. Мы уже стали ревновать и, ссорясь из-за тебя, то и дело вцепляемся друг другу в волосы». «Вы, — сказал я, — одинаково красивы, но ни одна из вас мне не нравится. Идите, милые, домой, перестаньте ссориться и враждовать. Я влюблен в другую и пойду к ней». «Здесь по соседству, — отвечают они, — нет красивых девушек, и ты говоришь, что любишь другую? Явная ложь! Поклянись тогда, что ни одна из нас тебе не нравится!». Я рассмеялся и воскликнул: «Вы хотите насильно заставить меня поклясться». «С трудом, — сказали они, — удалось нам улучить время, чтобы выйти на улицу, а ты

тут смеешься над нами. Нет, мы тебя так не отпустим и не дадим погубить нашу надежду!». С этими словами девушки повлекли меня за собой, а я не без удовольствия покорился. До сих пор в моем рассказе все было как следует и никого не могло смутить,[3] о дальнейшем же надо сказать в двух словах: я не огорчил ни одну из подруг, так как нашел на скорую руку приготовленный, но подходящий для такой надобности покой.

3

Филоплатан Антокому [1]

Я чудесно пировал с Леймоной[2] в саду, словно нарочно созданном для любовных утех и достойном красоты моей возлюбленной. Там широко раскинувшийся тенистый платан, легкое дуновение ветра, мягкая, как обычно в летнюю пору, вся в цветах трава, на которой приятнее лежать, чем на самых дорогих коврах, множество деревьев, гнущихся под тяжестью плодов.

Груш гранатных деревьев, с плодами блестящими яблонь

можно было бы сказать словами Гомера,[3] желая описать обиталище нимф. покровительниц здешнего изобилия. Кроме этих деревьев, неподалеку другие, усыпанные цветом и отягощенные всевозможными плодами, чтобы прелесть этого места не была лишена благоухания. Я сорвал лист, размял между пальцами и, поднеся к носу, долго вдыхал еще более сладостный аромат. Виноградные лозы, на редкость большие и высокие, обвивают кипарисы; приходилось сильно закидывать голову, чтобы любоваться повсюду со ствола свешивающимися гроздьями. Одни ягоды созрели, другие — только начинают темнеть, третьи еще зелены, некоторые же едва завязываются. Кто-то, чтобы достать спелые грозди, забрался на дерево,[4] кто-то, высоко подпрыгнув, крепко ухватился левой рукой за ветку, а правой рвал виноград, кто-то подавал с дерева руку старику-поселянину. У подножья платана протекает чудесный, удивительно холодный источник — в этом не трудно убедиться, если ступить туда ногой, — и столь прозрачный, что, когда мы с Леймоной плаваем и сплетаемся в любовных объятьях, наши тела отчетливо различимы в воде. И все-таки глаза не раз обманывали меня, оттого что груди моей любимой похожи на яблоки: я протягивал руку к яблоку, плывущему между нами в воде, принимая его за круглую грудь моей Леймоны. Сам по себе, клянусь нимфами его вод,[5] прекрасен источник, но еще бóльшую прелесть придавал ему убор из благовонных листьев и тело Леймоны. Хотя она на диво хороша лицом, но, когда разденется, кажется, у нее совсем нет лица из-за красоты того, что скрыто одеждой.[6] Прекрасен источник, ласково дыхание зефира, умеряющее летний зной; нежно убаюкивая своим дуновением и щедро принося с собой благоухание деревьев, оно спорило с благовониями моей слад-

чайшей. Эти запахи смешивались и услаждали чуть ли не в равной мере. Все же, мне думается, побеждали благовония потому только, что они принадлежали Леймоне. Веяние ветерка мелодически вторило хору поющих цикад, и это умеряло полуденный жар. Звонко заливались соловьи, порхая над водой. До нас доносились голоса и других певчих птиц, точно они на свой лад разговаривали с нами. Мне кажется, я и сейчас их вижу — одна отдыхает на скале, поочередно давая покой то одной, то другой лапке, вторая подставляет прохладе крылья, третья чистит перья, четвертая нашла что-то в воде, пятая наклонила голову и клюет с земли.[7] Мы вполголоса обменивались своими наблюдениями, боясь спугнуть птиц и лишиться отрадного зрелища. Едва ли не самым сладостным, клянусь Харитами, было и другое: пока землекоп ловкими движениями кирки прокладывал воде путь к грядам и деревьям, прислужник издалека по каналу посылал нам полные чаши чудесного питья; они быстро неслись по течению, не вперемежку, а по одной на небольшом расстоянии друг от друга; к каждой чаше, плавно двигавшейся, как нагруженный товаром корабль, была прикреплена густо покрытая листьями ветка мидийского дерева,[8] заменявшая нашим весело плывущим кубкам паруса. Поэтому, направляемые легким и спокойным дуновением, как быстро подгоняемые попутным ветром корабли, они сами собой спокойно причаливали со своим сладостным грузом к пирующим. Мы не медля подхватывали подплывающие чаши и пили вино, искусно смешанное в равной доле с водой. Ведь наш догадливый виночерпий намеренно прибавил к горячей воде вино, разогретое настолько сильнее, чем это принято,[9] насколько напиток должен был остыть в холодном канале, чтобы окружающая его прохлада, поглотив лишний жар, сделала его умеренно теплым. Так мы делили время между Дионисом и Афродитой, которых с наслаждением соединяли за кубком. А Леймона, убрав голову венком, уподобила ее цветущему лугу. Прекрасен ее венок и необыкновенно идет красавицам, румянец которых вплетенные в венок розы, когда их лучшая пора, делают еще алее. Отправляйся туда, мой милый (место это — собственность красавца Филлиона),[10] и вкушай, Антоком, такие же утехи вместе со своей желанной Мирталой.[11]

4

Филохор Полиену

Недавно красавец Гиппий из Алопеки,[1] взглянув на меня горящими глазами, сказал: «Видишь, друг, вон ту, что опирается на служанку? Как она высока ростом, как хороша собой, как благообразна! Клянусь богами, она изысканна — стоит на нее взглянуть, это сразу видно. Подойдем ближе и попытаем счастья». «По пурпурной накидке, — сказал я, — можно заключить, что это порядочная женщина — не слишком ли решительно мы действуем. Надо сначала присмотреться. Я знаю: кто не торопится, не по-

падает в беду».[2] Гиппий, насмешливо улыбнувшись, замахнулся было, чтобы ударить меня по голове, и укоризненно сказал: «Ты, клянусь Аполлоном, глуп и ничего не смыслишь в любовных делах. В такой час порядочные женщины не ходят по людным улицам, так разодевшись и любезно глядя на встречных. Не чувствуешь, как даже на расстоянии от нее пахнет духами? Не слышишь нежного звона ее браслетов, когда она бренчит ими? Ведь женщины делают это, нарочно поднимая правую руку и поддерживая кончиками пальцев одежду на груди, чтобы такими любовными знаками приманивать юношей. Смотри, — продолжал он, — я повернулся, и сейчас же повернулась она. Узнаю льва по когтям. Идем,[3] Филохор, бояться нечего: все будет хорошо, дальнейшее покажет, как сказал человек, вброд переходивший реку. Наши предположения легко проверить, стоит только захотеть». Тут Гиппий подошел к ней и после взаимных приветствий спрашивает: «Ради твоей красоты, женщина, нельзя ли нам побеседовать о тебе со служанкой? Мы не скажем ничего, что останется тебе неизвестно, и не попросим о бесплатной любви, а с удовольствием дадим, сколько захочешь. Захочешь же ты, я знаю, не слишком много. Кивни в знак согласия, красавица».[4] А она уступчивым взглядом мило и без всяких ломаний подтвердила свою готовность и стояла теперь, покраснев, и глаза ее сияли пленительным блеском, какой свойствен только чистому золоту. Тут Гиппий, повернувшись ко мне, сказал: «Ловко я догадался, кто она, и скоро ее уговорил, не потратив лишнего времени и слов. Ты еще в этих делах ничего не смыслишь. Но, следуя мне, учись и, так же как твой наставник в любви, наслаждайся: едва ли кто превосходит меня в этой науке».

5

Алкифрон Лукиану[1]

Во время праздника, справлявшегося за городом, когда весь народ праздновал и богато угощался, Харидем созвал к себе на пир друзей. Среди них была какая-то женщина (не стоит называть ее имени), которую Харидем (тебе ведь известно, как склонен этот юноша к любовным похождениям) словил на рынке и уговорил прийти. И вот, когда все гости собрались, входит золотой мой хозяин в сопровождении какого-то старика, которого приглашает возлечь с остальными. Едва увидев его издали, женщина поспешно вскочила и быстрее мысли убежала в другую комнату, а потом велела позвать Харидема и говорит ему: «Ты по неведению сделал ужаснейший промах: этот старик — мой муж; он, разумеется, узнал одежду, которую я сняла и оставила при входе, и теперь, конечно, полон подозрений. Но если ты незаметно передашь мне плащ и вдобавок немного угощения со стола, я сумею провести мужа и заставлю его сменить гнев на милость». Как только Харидем исполнил ее просьбу, женщина бросилась домой и, невесть как ускользнув, пришла раньше своего супруга.

Она заручилась помощью жившей по соседству приятельницы, и обе женщины сговорились, как им надуть старика. Вскоре он вернулся и в ярости прямо-таки ворвался в дом, крича и такими словами упрекая жену в распущенности: «Ты не обрадуешься, если осквернишь мое ложе». Из-за одежды, которую он заметил в доме у Харидема, старик заключил о неверности жены и в безумии уже бросился искать меч.[2] Тут, как раз в самое время, входит соседка и говорит: «Вот тебе, милая, твой плащ, я тебе чрезвычайно благодарна: исполнилось мое желание, но, ради богов, в нем не было ничего дурного; угостись, чем нас там потчевали».[3] Гневный старик, слыша эти ее слова, отрезвел, успокоился и так в раскаянии смягчился, что, напротив того, стал извиняться перед супругой. «Жена, прости, — говорил он, — признаю — я был вне себя, но из-за твоего целомудрия какой-то бог милостиво послал на наше общее счастье эту вот женщину, и она своим приходом спасла нас обоих».[4]

6

Гермократ Евфориону

Одна девушка сказала своей кормилице: «Если ты сначала поклянешься сохранить мою тайну, я сейчас тебе что-то скажу». Кормилица поклялась, и девушка тут же говорит ей: «Я у тебя, сказать правду, больше не девушка». Старуха при этих словах вскрикнула, стала царапать себе лицо и горестно запричитала. Девушка говорит: «Молчи, ради богов, Софрона. Тише, чтобы в доме нас не услыхали.[1] Разве ты только что не поклялась молчать? Чего же ты, милая, так страшно кричишь?! Артемида — свидетельница,[2] матушка, в том, что, хотя я вся горела от любви, но сколько хватало сил, старалась соблюдать себя. Правда, долго терпеть я не могла и стала так раздумывать, говоря себе: „Покориться ли мне любви или противиться желанию?“. Ведь мне хотелось и того и другого; но все-таки больше я склонялась к любви. Она крепла, покуда я медлила, и с каждым днем росла в моей душе, словно росток в земле.

Вот так я и была, признаюсь, побеждена факелом, перед которым никому не устоять».[3] Старуха говорит: «Случилось, дитя, величайшее несчастье, и ты опозорила мои седины. Но что было, того не вернешь; советую тебе — наперед не делай этого, больше не греши, чтобы по вспухшему животу отец с матерью не могли догадаться обо всем. О, если бы боги скорее послали тебе мужа, пока еще ничего не заметно! Ведь ты уже по годам можешь идти замуж, и отцу скоро понадобятся деньги на приданое!». «Что ты, матушка? Этого-то я больше всего боюсь». «Успокойся, дитя, будет нужно, и я тебя научу, как лишившись до брака невинности, показаться супругу девушкой».

7

Киртион Диктию [1]

Я стоял на прибрежной скале и тащил из воды чудесную рыбу, которая попалась мне на крючок, такую большую, что удочка гнулась под ее тяжестью; тут ко мне подходит какая-то красавица с лицом, исполненным естественной прелести, как у растения в лесу или в поле. Я сказал себе: «Эта добыча получше прежней». Тут девушка: «Посторожи мне, — просит, — ради твоего покровителя Посейдона [2] одежду, пока я омоюсь в волнах». Разумеется, я обрадовался и с большой готовностью согласился в предвкушении увидеть ее нагой. Стоило девушке снять последний хитон, как я обмер, глядя на сверкающую красоту ее тела: густые черные волосы оттеняли белизну ее шеи и румянец щек; оба эти цвета, сами по себе светлые, в соседстве с черным кажутся еще более сверкающими. Раздевшись, девушка сейчас же бросилась в воду и поплыла: море было тихим и спокойным. Тело девушки белизной не уступало пене набегающих валов. Клянусь Эротами, если б до этого я не видел ее, наверное, принял бы за одну из прославленных Нереид.[3] Когда ей довольно было морских омовений, ты бы сказал, взглянув, как девушка выходила из воды: «Так живописцы рисуют с достоинством выходящую из волн Афродиту». Я сейчас же подбежал и подал красавице гиматий,[4] шутя с ней и поддразнивая ее. А она (девушка, видимо, была неприступна и строгих нравов) покрылась гневным румянцем и от возмущения еще больше похорошела лицом, а глаза ее, хотя негодовали, были сладостны, подобно тому как звездный огонь все-таки — скорее свет, чем огонь. Она сломала мою удочку, а рыбу кинула в море; я же стоял в растерянности, оплакивая свой улов, а еще более ту, кого не смог уловить.

8

Эхепол Мелисиппу [1]

«Что за изящество, ах, что за уменье скакать на коне! Какая у этого всадника природная ловкость во всем! И красотой он выдается и не найдется ему равных в быстроте. Кажется, Эрот не укротил его, и для гетер он остался желанным Адонисом».[2] Красавец наездник услышал эти мои слова и сказал с укоризной: «Твои речи не имеют отношения ни к Дионису,[3] ни ко мне. Единственно страсть умеет мчаться на коне: она гонит меня и благодаря мне моего коня, безжалостно поражая его стрекалом и сверх всякой меры торопя. Мчись вперед, конюший! Пой на скаку и любовными песнями почти мою любовь». Побужденный словами юноши, я так стал петь ему тут же сочиненную песнь: «Я полагаю, господин, что стрелы тебе не опасны. Если же, обладая такой красотой, ты влюблен Эроты,[4] клянусь Афродитой, совершают несправедливость. Но пусть это тебя сильно не печалит: и собственной матери они нанесли раны».

9

Стесихор Эратосфену

Одна женщина шла по рыночной площади вместе с мужем, окруженная толпой слуг.[1] Заметив, что навстречу идет ее любовник, она чуть только его увидела, по наитию придумала, как под благовидным предлогом прикоснуться к желанному и, может быть, услышать его голос. Женщина делает вид, что споткнулась, и падает на колено. А ее любовник словно они давно обо всем сговорились, спешит на помощь, подает руку, поднимает упавшую, сплетая свои пальцы с ее. При этом, я думаю, руки обоих немного дрожали от вожделения. Возлюбленный, утешая мнимо пострадавшую, сказал ей несколько слов и ушел.[2] А она, словно от боли, украдкой подносит руку к губам, целует пальцы, касавшиеся его пальцев, потом томно приближает к глазам, точно смахивает слезу с век, которые для этого тщетно трет.

10

Эратоклея Дионисиаде

Красавец Аконтий взял в жены красавицу Кидиппу.[1] Справедливо говорит древняя пословица, что по воле божества подобное всегда находит себе подобное. Афродита щедро украсила деву всеми своими дарами, только волшебный пояс[2] оставила себе, чтобы как богиня иметь превосходство над Кидиппой. В ее глазах не три Хариты, по Гесиоду,[3] а десять раз десять кружились в пляске, юношу же красили глаза ясные, потому что прекрасные, грозные, потому что целомудренные, яркий природный румянец был разлит по щекам. Ценители красоты, теснясь, сбегались полюбоваться на Аконтия, когда он шел к учителю; из-за него заполнялась народом рыночная площадь и тесными становились широкие улицы; многие особенно страстные поклонники юноши старались ступать ногами в его следы.[4] Такой-то вот юноша полюбил Кидиппу. Нужно ведь было, чтобы этот красавец, пронзивший стольких своей красотой, почувствовал хотя бы одну любовную стрелу и испытал то, что заставлял терпеть тех, кого ранил. И вот Эрот не слабо натянул тетиву (ведь это была его отрада), а изо всех сил и тогда лишь выпустил свою грозную стрелу. Поэтому, прекраснейший мальчик Аконтий, раненому тебе осталось два пути: добиться брака с Кидиппой или умереть. Но поразивший тебя стрелок, сам привыкший искусно измышлять всякие хитрости, щадя, быть может, твою красоту, внушил тебе неслыханное лукавство. Ведь тотчас же, как ты увидел деву в храме Артемиды,[5] из сада Афродиты[6] ты выбрал кидонское яблоко,[7] сделал на нем коварную надпись и незаметно кинул яблоко к ногам Кидиппиной служанки. А она, удивившись, как оно велико и как румяно, подняла и недоумевала, которая это дева неосторожно выронила его

из складок своей одежды. «Может быть, ты священное яблоко? — спрашивала она, — что это за буквы нацарапаны кругом? Что ты хочешь сказать? Возьми, госпожа, яблоко — никогда я[8] не видела такого. Какое оно громадное, какое красное, как багрянцем своим напоминает розы, как сладко пахнет — даже издалека слышно. Прочти, милая, что тут написано». Дева берет яблоко в руки и, поглядев на надпись, читает такие слова: «Клянусь Артемидой, я вступлю с Аконтием в брак». Произнося клятву,[9] хотя невольно и не по своей охоте, она застыдилась и выронила из рук яблоко с этим любовным обещанием,[10] а последнее слово надписи «брак» вымолвила чуть слышно: целомудренная дева покрывается румянцем стыда, даже если слышит это слово из чужих уст. Кидиппа так зарделась, будто луг роз расцвел на ее щеках; багрянец этот яркостью не отличался от цвета губ. Девушка промолвила, Артемида услышала. Будучи сама девой, богиня все-таки стала помогать тебе, Аконтий. А пока этот несчастный — но ни морское волнение, ни бурю любовной страсти не передать словами! Не сон, одни слезы приносили ему ночи. Ведь днем он стыдился плакать и сохранял свои слезы для ночи. Тело юноши истаяло, от горя увял румянец и угас взгляд; Аконтий даже боялся попасться на глаза отцу и под разными предлогами старался скрыться от него за город. Более остроумные из его сверстников, думая, что юноша посвятил себя сельским трудам, прозвали его Лаэртом.[11] Но не виноградники и не мотыги были на уме у Аконтия; он целыми днями сидел под дубом или вязом и обращал к ним такие речи: «Если бы вы, деревья, могли думать и говорить, чтобы промолвить „Кидиппа — красавица!“. Пусть хотя бы в вашу кору будут врезаны буквы, составляющие эти слова. О Кидиппа, если б я мог сказать, что ты так же хороша, как верна своим клятвам! Да не метнет в тебя Артемида-мстительница стрелу и да не поразит: да закрыт будет ее колчан! О, я злосчастный! Зачем подверг я тебя такой опасности? Говорят ведь, что без пощады богиня ополчается на все нечестивые поступки, но особенно жестоко карает тех, кто нарушил клятвы. О если б ты была верна, как я молил, своему обету, если б была верна! Случись же то, о чем я не смею даже говорить, да будет, дева, богиня Артемида милосердна к тебе. Ведь должно карать не тебя, а того, кто заставил дать ложную клятву. Я только буду знать, что надпись не оставила тебя равнодушной и, чтобы избавить мою душу от любовного вихря, не пожалею своей крови никогда, словно она — текучая вода. Но, милые деревья, пристанища голосистых птиц, живет ли в вас подобная моей любовь? Влюблялся ли когда-нибудь кипарис в сосну, а какое-нибудь иное дерево в другое?[12] Зевсом клянусь, не думаю. Иначе вы бы не сбрасывали только листву; страсть не успокоилась бы на том, чтобы лишь ветви теряли зеленый наряд, а с ним и очарование, но жгла бы их своим пожаром целиком, до самого корня». Так говорил юноша Аконтий, слабея телом и разумом А Кидиппе между тем готовили брак с другим. Перед спальней новобрачных лучшие девушки-певицы, медовоголосые,[13] пели гименей, эту сладчай-

шую песнь Сапфо.[14] Но вдруг дева тяжко заболела, и мать с отцом думали уже о выносе, а не о проводах невесты в дом жениха.[15] Вскоре она столь же неожиданно поправилась; во второй раз стали украшать брачный покой, и тут, словно по мановению Тихи,[16] Кидиппа снова слегла. Когда и в третий раз с девой такое случилось, отец не стал ждать, чтобы недуг вернулся в четвертый раз, а вопросил Пифийца,[17] кто же из богов препятствует браку дочери. Аполлон все ясно объясняет отцу про юношу, храм, яблоко, обет и гнев Артемиды и советует, чтобы Кидиппа скорее исполнила свою клятву. «Соединив Кидиппу с Аконтием, — говорит он, — ты сплавишь не свинец с серебром, но чистое золото с чистым золотом». Так вещал бог-предсказатель, и клятва Кидиппы вместе с пророчеством Аполлона исполнилась в день ее брака. Сверстницы девы не напрасно пели гименей — теперь его не мог оборвать или заставить смолкнуть никакой недуг. Если кто из девушек сбивался, руководительница хора, посмотрев на нее, движением руки поправляла ошибку, а другая в лад песне хлопала рукой об руку — правая с немного согнутыми пальцами ударяла по ладони, подложенной под нее левой так, чтобы их столкновение напоминало звонкие удары кимвалов. Однако для Аконтия время тянулось медленно, и ему казалось, что никогда не было дня длиннее и ночи короче той ночи, но юноша не променял бы ее на золото Мидаса[18] и был уверен, что даже сокровища Тантала[19] не ценнее Кидиппы. В этом все согласятся со мной, кто не вовсе лишен опыта в любовных делах, а кто не знал любви, тот, конечно, будет думать иначе. Недолгой была у Аконтия страстная ночная битва с девушкой, потом он вкушал с ней мирные наслаждения. Дом был освещен факелами, напитанными благовониями, так что при горении они источали сладкий дух и вместе со светом дарили ласкающий обоняние запах. Прежде девы, когда в их числе была Кидиппа, имели преимущество перед замужними женщинами, так как первая красавица была среди них, теперь же, стоило ей вступить в круг женщин, — девы его лишились. Так природа заботилась о том, чтобы Кидиппа всегда оставалась непревзойденной. Подобно траве златоград,[20] она тесно приникла к золотому юноше Аконтию. Они оба своими блистающими глазами, словно звезды, озаряли один другого, наслаждаясь еще сильнее сиянием друг друга.

11

Филострат[1] Евагору

Одна женщина так говорила своей служанке: «Ради Харит,[2] каков, по твоему мнению, обожаемый мною юноша? Мне-то он кажется красавцем, но от любви к нему я, может быть, заблуждаюсь в своем суждении, и страсть обманывает мои глаза? И еще вот что скажи мне: что думают, глядя на него, другие женщины? Восхищаются ли они его красотой или с осуждением отворачиваются от него». Служанка отвечает как настоя-

щая сводница: «Клянусь Артемидой, своими ушами я слышала, как многие чуть что не в лицо говорят ему так: „Какой прелестный мальчик, какое чудо красоты создала природа, ему бы служить образцом для изваяний Эротов,[3] а не Алкивиаду.[4] Это, клянусь милыми Орами,[5] красота так красота! Славный мальчик, как в гордом сознании своей привлекательности он совсем не заносится, но держится приветливо и достойно! Чтобы влюбиться, достаточно посмотреть на его орлиный нос,[6] на волосы, и сами по себе красивые и еще красивее обрамляющие лоб и сбегающие у ушей к покрытым пухом щекам. А плащ — что за обилие красок! Он непрестанно меняет цвет, переливает разными оттенками, и каждый раз другой. Вот желанный возлюбленный, в самой поре, когда только пробивается первый пушок! Счастлива та, кому выпадает на долю любить его и быть им любимой! Блаженство делить с ним ложе, наслаждаясь и гордясь его красотой. Такая женщина, конечно, избранница Харит“.[7] Все, мне думается, с первого взляда влюбляются в него!». А госпожа наслаждалась этими речами и от радости при каждом слове несколько раз менялась в лице. Ей казалось, что она, по пословице, головой касается самых небес.[8] Теперь она окончательно уверилась, что юноша хорош собой. Женщины ведь и самих себя признают красивыми только, если кто-нибудь, взглянув на них, выскажет одобрение или, восхитившись ими, влюбится.

12

Евгемер Левкиппу

Кто видел чудеса Востока, кто знавал красавиц Запада?[1] Пусть отовсюду приходят высказать суждение о моей возлюбленной искушенные в любви ценители женской прелести,[2] пусть скажут правду, встречалась ли им когда-нибудь подобная красота. Ведь если всю ее окинуть взором — всюду увидишь только красоту и только с красотой повстречаешься. Мом[3] отступает от нее в злобе, стонет и сознает свое бессилие. Я поражен ее прелестью, и мое восхищение простирается даже на ее ноги. Ведь ноги, если они хороши, способны некрасивых сделать красивыми. Меня радует и ее поведение, как нельзя более идущее к ее наружности. Хотя Питиаде[4] суждена была жизнь гетеры, она исполнена врожденной простоты и имеет безупречный нрав. По всему своему складу она выше такой жизни и своей неиспорченностью особенно подкупила меня. Какой я ни подарю ей подарок, она довольна в отличие от гетеры, которой, чтó ни дай, все мало...[5] как галка всегда подле галки, так и мы.[6] К чему распространяться о дальнейшем, где начинаются сокровенные радости Афродиты? Скажу только, что Питиада противится ровно настолько, чтобы промедление разжигало меня еще сильнее. Шея её благоухает амвросией,[7] дыхание сладостно. Пахнет оно яблоками или розами, добавленными в питье, ты решишь сам, когда поцелуешь ее. С головой на груди любимой я лежал без сна,

приникнув губами к ее бьющемуся сердцу. Нет, неправильно говорят некоторые, будто только один путь ведет к полному наслаждению! Ведь некрасивые женщины не дают нам познать любовь, и никто не вкусит с ними ни начала, ни завершения любовного наслаждения. Ведь удовольствие, получаемое от еды, тоже приводит к одному концу — к насыщению, но одни кушания питают и услаждают, а от других отворачиваешься с отвращением. Из-за нее всякий день для меня светел и не менее свидетельствует о счастье, чем камешки, что копятся в колчане.[8] Часто я слышал песенку, будто разлука убивает любовь, есть и пословица «до той поры друг, пока видит рядом». Но я могу поклясться красотой Питиады, что и в разлуке не остывал к ней. Вернувшись, я любил ее нисколько не меньше; наоборот, время заставляло меня испытывать еще более горячую любовь, и я благодарю Тиху[9] за то, что богиня не вложила мне в сердце забвения любимой. Какой-нибудь поэт, воспевающий любовь, мог бы сказать о нас, заимствуя слова Гомера:

Старым обычаем вместе легли на покойное ложе.[10]

13

Евтихобул Акестодору[1]

Долгие годы, дражайший, научили меня тому, что все искусства без счастья немного стоят, а счастье в свою очередь украшается подлинным знанием. Ведь знание, если божество не оказывает помощи, несовершенно, счастье же еще больше процветает, если дарит свои преимущества людям сведущим. Я чувствую, что предисловие покажется чересчур длинным тому, кто хочет скорее обо всем узнать, и потому, не медля, приступаю к рассказу. Харикл, сын почтеннейшего Поликла, из-за любви к отцовской наложнице слег в постель, притворяясь, что страдает каким-то странным телесным недугом; на самом же деле он знал, что болезнь его совсем иного свойства и проистекает от любви. И вот отец как всякий хороший и любящий родитель сейчас же посылает за Панакием, врачом, пользующимся заслуженной славой. Тот пальцами нащупывает пульс юноши, мыслью устремляется к высотам своего искусства, глазами выдавая напряженное раздумье, но при всем старании не находит у него ни одной из знакомых врачебной науке болезней. Долго этот знаменитый врач стоял в полной растерянности; вдруг женщина, в которую был влюблен больной, прошла мимо; пульс его сейчас же забился неровно, глаза стали беспокойными, и лицо, не хуже пульса, выдавало смятение. Двояким путем Панакий разгадал природу недуга — то, что он бессилен был понять с помощью своего искусства, он понял благодаря счастливому случаю, но до срока решил молчать об удаче, посланной ему провидением. Таков был первый осмотр. Во второй раз посетив Харикла, врач распорядился, чтобы все девушки и

женщины, бывшие в доме, прошли мимо его постели поодиночке на небольшом расстоянии друг от друга. Все время, пока это продолжалось, он наблюдал за Хариклом, держа пальцы на его запястье, там где бьется пульс: ведь пульс — верный помощник сынов Асклепия [2] и надежный свидетель нашего внутреннего состояния. А страдающий любовным недугом юноша, глядя на них всех, оставался спокоен; когда же появилась наложница, в которую Харикл был влюблен, вид его и пульс сейчас же дали об этом знать. Тут мудрый и к тому же на редкость удачливый врач еще более укрепился в своем суждении о болезни Харикла, оставляя, как говорится, третью чашу богу спасителю.[3] Он ушел под предлогом, будто должен приготовить лекарство, обещав назавтра принести его, и перед уходом ободрил Харикла и его несчастного родителя. В назначенный час Панакий явился; отец больного и все остальные стали называть врача своим спасителем и радостно приветствовали его, а он гневно кричал и, очень раздраженный, отказался лечить юношу. Поликл, конечно, пытался умолить его и узнать причину отказа, на что Панакий стал громче кричать и собрался уходить. Тут отец принялся еще горячее молить врача, целуя его грудь [4] и обнимая колени; а Панакий, словно его принудили к этому, в гневе так объясняет свое неожиданное решение: «Этот человек, — сказал он, — без памяти влюблен в мою супругу и тает от нечестивой страсти; я ревную его и не могу даже смотреть на того, кто угрожает моей чести». Поликлу стало стыдно перед Панакием, когда он услышал о природе мучающей сына болезни, он покраснел, но все же, поддавшись чувству отцовской привязанности, отважился молить врача принести в жертву жену и уговаривал его, что это послужит милосердию, а не прелюбодеянию. Несмотря на такие его просьбы, Панакий продолжал громко кричать, упрекая Поликла, как в раздражении может упрекать человек, которого вместо врача хотят сделать сводником и заставить принять участие в совращении собственной жены,[5] хотя об этом прямо и не говорится. Когда же Поликл опять стал настаивать и просить, снова повторяя, что это послужит милосердию, а не прелюбодеянию, мудрый врач под видом произвольно взятого примера рассказал ему то, что произошло в действительности, и затем спросил: «А ты бы, Зевс свидетель, что сделал, если б юноша полюбил твою наложницу? Нашел ли бы в себе решимость уступить ее?». «Конечно, — отвечает тот, — Зевсом клянусь». На это рассудительнейший Панакий сказал: «Так вот, Поликл, проси самого себя и себя, как в таких случаях полагается, утешай — юноша влюблен в твою наложницу. Если справедливо, по-твоему, чтобы я для спасения чужого человека уступил супругу, гораздо более справедливо, чтобы ты отдал больному сыну свою наложницу».[6] Он сказал разумно, сделал бесспорные умозаключения и убедил отца руководствоваться тем, что сам же он признал правильным. Сначала, однако, Поликл сказал себе так: «Тяжкое это дело выбирать из двух зол, но все же следует выбрать меньшее».

14

Филохрематион Евму́зу[1]

Без денег флейта не склонит гетеру, и лира не привлечет тех, кто продает свою любовь: мы служим только корысти и равнодушны к очарованию песен. К чему, юноши, вы зря надуваете свои щеки, играя на сиринге, зачем терзаете струны? Зачем поете: «Не хочешь ли, дева, стать женщиной? До каких пор тебя будут звать „дева“ и „девушка“, именами дурочек?». Или,[2] отлично зная, что гетер без денег ни на что не уговоришь, вы надеетесь легко провести меня как девочку, неопытную в любви, не посвященную в дела Афродиты, и поймать с еще меньшим трудом, чем волк ночью откормленную овцу. Но я живу со своей сестрой, опытной гетерой, и, беседуя иногда с ее любовниками, многому научилась. Я усвоила все, что нужно для жизни гетеры, многое себе уяснила, стала острее отточенной бритвы и только деньгами измеряю любовь юношей. Лучших доказательств страстной любви, чем золото, я не знаю. Поэтому, когда мы вместе идем по улице, остряки нередко с насмешкой кричат нам вслед: «Эй, упряжка Кробила!».[3] Клянусь Харитами,[4] я часто слышала, как сестра вполне правильно говорила своим дружкам: «Вы желаете красоты, а я люблю деньги. Так вот давайте без брюзжания угождать обоюдным желаниям». Я усвоила эти ее слова и стараюсь им следовать. Вы тоже следуйте им и оставьте свою ненужную никому музыку, а за нами дело не станет, если будут деньги, все сейчас же само придет и прискачет.

15

Афродисий Лисимаху[1]

Ничто, я думаю, не может сравниться силой убеждения с Афродитой. Те, кто был поражен ее стрелами, знают это и все до одного подтвердят мою правоту. Эта богиня прекращает войну и заставляет враждующих заключать друг с другом прочный союз. Нередко, когда прославленные военачальники уже двинулись в поход, когда разбиты большие лагери и закончены все многообразные приготовления к войне, тот самый мальчик, вооруженный луком,[2] одной маленькой стрелой делает ненужным самого Арея, кротость внушая, жестокость устраняя. Поэтому обычно, увидев тяжеловооруженного, хотя его и трудно одолеть,[3] человек бесстрашно прикрывается щитом и держит наготове копье, но стоит появиться Эроту, и недавний смельчак бросает свой щит и, сразу же подняв правую руку, признает свое поражение, бежит с поля боя в страхе перед мальчиком-стрелком и не отваживается хотя бы сколько-нибудь сопротивляться.

Так вот города Милет и Миунт[4] долгие годы жили в полнейшем разобщении, если не считать того, что жители Миунта по условиям договора

на короткое время могли приходить в Милет. Временем и границей пребывания миунтян в Милете был местный праздник Артемиды, и таким образом обе стороны сделали его кратковременным отдыхом от войны. Афродита, сострадая милетянам и миунтянам, примирила их, придумав для этого такую уловку. Некая девушка по имени Пиерия, красивая собой от природы и вдобавок чудесно украшенная Афродитой,[5] в нужный час пришла в Милет из Миунта. Богиня устроила так, что вместе со всей толпой в храм Артемиды отправились сияющая Харитами[6] дева и Фригий, царь этого города, душу которого, едва он ее увидел, пронзили стрелы Эротов. Скоро оба они оказались на ложе, чтобы и их родные города как можно скорее соединились в мире. Тогда-то царь, прелестно насладившись с девушкой и спеша должным образом воздать ей, говорит: «Смело, моя красавица, проси чего хочешь, и охотно я вдвойне исполню твое желание». Так сказал этот благородный возлюбленный. Но тебя, дева, потому что ты превосходишь всех женщин красотой и умом, не сбили с пути благоразумия ни цепочка, ни серьги, ни драгоценная диадема, ни ожерелье, ни длинные лидийские одежды, ни пурпур, ни карийские служанки, ни искусные лидийские ткачихи — все то, что обычно так манит женщин. Ты потупилась, словно обдумывала что-то. Затем прелестно залилась румянцем, застыдившись, опустила голову, и то играла бахромой накидки, то вертела концы пояса, то чертила ногой по полу (так ведут себя люди в смущении) и наконец тихо сказала: «Дозволь, царь, мне и моим близким беспрепятственно приходить в этот счастливый город, когда ни вздумается». Фригий угадал намерение девы, всей душой преданной родному городу, понял, что она старается примирить миунтян с милетянами, и милостиво согласился исполнить желание любимой, любовью укрепив мир для ее сограждан прочнее, чем если б торжественно заключил с ними союз. Ведь человек, когда ему хорошо, склонен к примирению со всеми, ибо счастье тушит гнев и предает забвению обиды. Так, о Пиерия, ты отлично показала, что богиня Афродита способна делать из людей ораторов, иногда превосходящих красноречием даже пилосца Нестора:[7] нередко ведь до этих пор оба города, чтобы заключить мир, посылали друг другу умудренных опытом послов, но[8] напрасно — мрачные и недовольные, они уходили, ничего не добившись. Отсюда, вероятно, пошло у иониянок такое присловье: «Пусть бы мой супруг чтил меня свою законную супругу, как Фригий почтил красавицу Пиерию».[9]

16

Ламприй Филиппиду

Терзаемый сокровенным Эротом, я в отчаянии говорил себе: «Никто не знает, что любовная стрела пронзила мое сердце, кроме тебя, нанесшего мне рану, и твоей матери, которая обучила тебя этому искусству:

ведь никому [1] в целом свете я не могу рассказать о своем страдании. Между тем, если не высказывать и таить любовь, она во влюбленных разгорается еще сильнее. Ведь человек, что́ бы ни мучило его, говоря об этом, снимает со своей души [2] тяжесть. Как ты ранил меня, Эрот, порази стрелой и мою любимую; нет, не так беспощадно, чтобы боль не нанесла ущерба ее красоте. В скором времени это сбывается: я проникаю к ней в дом — моя любимая вступает со мной в беседу, и вместе с ее словами я наслаждаюсь красотой девушки и ароматом ее благовоний, а немного смущенные глаза прямо приводят в неистовство страстно влюбленного. Я увидел пальцы ее рук, увидел и кончики ног, эти дивные признаки красоты, увидел и лицо, что за лицо! Небрежность девушки позволила мне слегка коснуться взглядом и груди. Но я не смел открыть ей любовь и горестно говорил про себя: «Эрот, ведь это в твоей власти — пусть она первая попросит ласк, пусть уговаривает меня и укажет путь к ложу». Едва я это сказал, умоляя всемогущего Эрота, как он благосклонно внял мне и исполнил мольбу. Девушка взяла мою руку и начала играть пальцами, чуть стискивая их в суставах, при этом очаровательно рассмеялась, и во взгляде ее появилось желание — прежде глаза были скромны, теперь стали любовью полны. И вот в любовном исступлении она притянула мою голову к себе и поцеловала меня с такой страстью, что не могла оторвать губ от моего рта и почти раскровянила его своим поцелуем. Когда девушка приоткрывала свои губы, в душу мне лилось сладостное дыхание, не уступавшее запаху благовоний, которыми пахло ее тело. Дальнейшее (ты ведь знаешь, что за этим следует) можешь вообразить себе, друг мой, сам — мне незачем тратить лишних слов. Скажу только, что всю ночь мы состязались друг с другом в том, кто любит сильнее, и когда во время ласк обменивались нежными словами, они от наслаждения замирали у нас на губах.

17

Ксенопит Демарету

О своенравная женщина, о варварский нрав, о необузданная душа, которую труднее смягчить, чем дикого зверя! Я знал гетер, служанок посещал, замужних женщин соблазнял, словом, как всякий смертный не раз служил богу (ведь Эрот вел меня извилистым путем: таков путь у бегущего через сад ручья) и повсюду воздвигал трофеи своих побед над женщинами (в знак того, что добился цели),[1] умело находя способы обольщения каждой. Но от Дафниды, признаюсь, я потерпел поражение, и теперь в первый раз, Ксенопит, в растерянности — она ведь ходячее собрание пороков, присущих гетерам. Влюбившись, не дает воли своей любви, когда ее любят, полна надменности, не склоняется на нежные слова, пренебрегает выгодой, повинуется только своим прихотям и превыше всего ставит свою волю. А смеется Дафнида, если уж это вообще случится, только одними

губами. Я уговаривал эту варварку так: «Не будь мрачной, красавица, не хмурь брови: когда твое лицо устрашает, оно менее красиво». Но она не обратила внимания на мои слова (осел слушает лиру!),[2] ей мало дела до моих советов. Однако все это не должно лишать надежды настойчивых: капля ведь точит камень. Нужно только чаще наживлять на крючок приманку; если она снова клюнет, я опять заброшу удочку, а на третий раз вытяну рыбку. Дафниде не удастся посрамить меня, как ни трудно состязаться с нею, и я не оставлю удочку, хоть и не просто поймать эту рыбку. Любви присущи настойчивость и упорство; со временем и Атриды[3] завладели знаменитой Троей. Помоги же мне, друг, ведь ты охвачен такой же, как я, страстью и кипишь, подобно бурной волне. Один, говорит пословица, корабль, один риск.

18

Калликойта Мейракофиле[1]

Ты — счастливейшая женщина, так как признаешь только красоту и не желаешь служить богатству, если не ждешь при этом наслаждения. Постоянно ты ищешь молодых возлюбленных, чтобы разделять любовные радости с тем, кто тебе нравится; юноши в расцвете сил привлекают тебя, и ты наслаждаешься в обществе цветущих мальчиков. Ты страстно влюблена в красоту: к некрасивым ты равнодушна, неравнодушна к красивым. Как лаконская собака,[2] ты уверенно бежишь по следу, если приметила кого-нибудь, за кем стоит охотиться. А вовсе непривлекательных стариков ты обходишь еще издали, и посули тебе такой сокровища Тантала,[3] ты считаешь это слишком малой платой за его уродливую седину, за то, чтобы превозмогать крайнее омерзение,[4] глядя на его старческое противное лицо и на все остальное, о чем и слушать-то противно, а не только быть вынужденной прикасаться. Поэтому под всяким предлогом тебя тянет к молодым — ровня, по старой пословице, любит ровню. Мне думается, что ровесники стремятся к одинаковым удовольствиям, и соответствие друг другу порождает любовь. Один юноша тебе нравится, потому что курнос, и ты называешь это прелестным, орлиный нос другого кажется тебе царственным, о носе третьего, не вздернутом и не горбатом, ты говоришь, что он в самый раз; смуглых зовешь мужественными, белокожих — сыновьями богов. Ты думаешь, что медовокожие[5] — прозвище, изобретенное не живущим в тебе желанием, говорящим языком нежности и легко мирящимся с бледным цветом лица, если он у юноши таков? Одним словом, ты ищешь всяческих поводов, придумываешь всяческие слова, чтобы в своей влюбчивости не отвергнуть ни одного юношу в цветущем возрасте, подобно любителям вина, которые под всевозможными предлогами готовы приветствовать всякое. Что же касается вина, свидетель Дионис, тут нам не надо заимствованных со стороны примеров — достаточно посмотреть на самих себя.

19

Евфронион[1] Телксиное

Если когда-нибудь Тиха[2] благосклонными глазами взглянула на Мелиттарион, дочь Аглаиды, так это, клянусь Герой, теперь: Мелиттарион оставила сцену[3] и чудо как преобразилась, изменив имя, а вместе с ним и облик.[4] А я (пусть зависть не омрачит доставшейся ей свободы), я вечно буду рабыней нелепых театральных пьес и бессовестных любовников. Мелиттарион была певицей, жила в нужде под присмотром очень небогатой матери, а потом превзошла товарок по искусству и непринужденно пользовалась своим дарованием, так как сроднилась с театром. Сначала над нею, как водится, смеялись, затем были сверх меры восхищены, а в конце концов стали жестоко завидовать: ведь, сколько я помню, она всегда имела успех. Искусство сделало Мелиттарион в глазах людей красивее лицом, и поэтому она сильнее разжигала поклонников, а затем из-за ее славы все большее и большее их число стремилось угождать ей щедрыми подарками. Мелиттарион ценилась высоко и имела дело только с самыми богатыми. Ей нельзя было беременеть, чтобы роды не лишили ее в глазах любовников привлекательности, так как родовые муки могли преждевременно состарить ее. Певица слышала (ведь об этом постоянно говорят между собой женщины), что, когда женщине предстоит зачать, семя не выходит из нее, но силой природы задерживается внутри, а, услышав, поняла и запомнила эти речи. И вот, когда, случалось, Мелиттарион замечала, что семя из нее не вышло, она говорила матери, и так это доходило до меня: ведь я более опытна в таких делах. Стоило мне узнать о беде, как я велела ей делать то, что мне было известно, и Мелиттарион быстро забывала свои страхи. Но когда она влюбилась в Харикла, юношу и богатого, и красивого, отвечавшего ей не менее горячей любовью, Мелиттарион стала молить всех богов покровителей деторождения даровать ей от него ребенка. Действительно, она вскоре забеременела, затем в срок пришла Илифия,[5] и она родила чудесного мальчика, вылитого, свидетельницы мне Хариты,[6] отца. Считая это большой для себя удачей и счастьем,[7] мать назвала ребенка Евтихидом.[8] Она очень любила и прямотаки обожала его — во-первых, мальчик, во-вторых, хорошенький, в-третьих горячо желанный и, наконец, истинное подобие своего красавца отца. Ведь у родителей можно заметить какую-то склонность к более красивым детям: если в семье двое или больше детей, тот, что красивее, всегда милее отцу и матери. Харикл сразу до того привязался к младенцу, что ему казалось несправедливым, чтобы мать такого маленького Эротика продолжала зваться гетерой. Поэтому он тотчас же освободил[9] Мелиттарион от ее позорного ремесла и взял возлюбленную в жены для рождения законных детей. В благодарность за сына юноша во много раз сильнее полюбил и его мать.[10] Не удивительно поэтому, что у Мелиттарион от счастья светятся

глаза и что после родов она ничуть не подурнела.[11] Недавно, одевшись, как подобает добропорядочным женщинам, я пошла к Питиаде (ее теперь так зовут) и порадовалась вместе с ней. Увидев, что ребенок заплакал, я его ласково поцеловала — ну и красивый, ну и нежный, мягче розовых лепестков, на которые похожи по цвету его щечки! Я поражаюсь, клянусь обеими богинями,[12] как разом все в ней переменилось. Можно только дивиться приветливости в ее взгляде, скромности повадки, полной достоинства улыбке, простой прическе, скромному покрывалу на голове, скупым и не громким речам. Я видела у нее запястья и браслеты на ногах не какие-нибудь аляповатые, милая, а действительно достойные свободной. Такое же у нее ожерелье и другие украшения. По улице она идет, рассказывают, склонив голову, размеренной поступью, как следует скромной женщине. Можно подумать, что такой она была от рождения. В женских спальнях и за прялкой только обо всем этом и говорят. Сходи-ка и ты к ней, Телксиноя, ведь ты живешь по соседству, но ради приличия надень пурпурную накидку и смотри, дорогая, не назови ее по привычке Мелиттарион вместо Питиады. Это бы, клянусь Дионой,[13] случилось со мной, если б Гликера, которая тоже была там, вовремя не толкнула меня незаметно локтем.

20

Филакид Фруриону[1]

Одного юношу обвинили в распутстве, и он теперь содержится у меня. Красота и молодость узника склонили меня к состраданию, и, сняв с него оковы, я позволил юноше ходить по тюрьме свободно и почти без присмотра. В благодарность за такое человеколюбие он соблазнил мою жену. Даже вор Еврибат,[2] как рассказывают, не отваживался на что-нибудь подобное. Ведь очутившись в темнице, он подружился со стражниками и пообещал им показать, как он проникает в дома, чтобы их ограбить. У стражников были железные кошки и губки.[3] Взяв то и другое, Еврибат только перелез через стену и убежал, но не похитил ни у кого красавицы-жены. Проделка этого юноши, и неожиданная и забавная,[4] заставила о себе говорить, но меня, клянусь Дикой,[5] еще больше самого прелюбодеяния задевают насмешки — тюремщик и начальник стражи, я не сумел в доме доглядеть за своей собственной женой.

21

Аристомен Мирониду

Новое зло, Миронид, беда от любви![1] Никогда я даже не слышал о такой страсти. Архител Фалерский[2] влюблен в Телесиппу, она же, с трудом дав себя уговорить, такими странными условиями его ограничила:

«Трогай, — говорит, мои груди, целуй как угодно и обнимай через одежду, но большего не добивайся и не ожидай: иначе сам себе сделаешь хуже и лишишься того, что я тебе раньше позволяла». «Пусть будет так! Согласен, — сказал в своем безвыходном положении Архител, — если тебе угодно, Телесиппа, то и мне не противно. Я, — продолжал он, — буду благодарен Тихе,[3] лишь бы слушать твои речи и удостоиться смотреть на тебя. Но если ты, любимая, не имеешь ничего против, я бы хотел узнать, почему ты решительно отказываешься соединиться со мной в любви». «Потому, — сказала она, — что эти радости вожделенны, привлекательны и страстно желанны, пока их ждешь; стоит их вкусить, как они в пренебрежении; некогда манившее становится сразу ненужным и с безразличием отвергается. Ведь желания у юношей переменчивы и часто противоречивы». Такую бедный любовник терпит женщину, настолько этот Архител несчастен! Он принужден обходиться с любимой, как евнух, бессильно облизывающийся на наслаждение, но злосчастный добивается даже меньшего, чем влюбленные евнухи.

22

Лукиан Алкифрону[1]

Гликера любила Харисия[2] и любит его до сих пор. Сильно страдая от его заносчивости (ты ведь знаешь нрав этого юноши), она рада была возненавидеть его. Причина такого желания верной — любовь непомерная. И вот Гликера берет в советчицы Дориду;[3] это ее любимая служанка, которая занимается устройством ее любовных дел. Когда план действий был составлен, Дорида, словно за каким-то делом, отлучилась из дому. Харисий, увидев ее на улице, сказал: «Здравствуй, дорогая».[4] А она в ответ: «С чего бы мне здравствовать?». Юноша встревожился: «Что, Дорида, во имя богов, стряслось?». Служанка, конечно, притворно залилась слезами и говорит: «Гликера без ума влюбилась в этого ужасного Полемона,[5] а тебя, как тебе ни покажется странным, лютой ненавистью ненавидит». «Правду ли ты говоришь?» — опять спросил испуганный юноша, беспрестанно меняясь в лице. «Чистейшую, — отвечает Дорида, — правду. Она даже крепко прибила меня за одно упоминание твоего имени». Тут обнаружилось, что Харисий до тех пор скорее был влюблен, чем любил. Ведь многие из-за ревности начинают страстно жаждать того, чем пренебрегали, когда оно принадлежало им. И вот, забыв всю свою надменность, юноша, совсем убитый, говорит искательно и печально (гордость, если на нее не обращать внимания, быстро пропадает), горько плачет, отвернувшись, и пытается стряхнуть текущие по щекам слезы. «Чем я невольно, — говорит он, — огорчил мою Гликеру? Ведь никогда по злой воле не стал бы я обижать ее. Клянусь Эротами, в твоем присутствии, Дорида, мне бы хотелось поговорить с Гликерой, чтобы узнать, не провинился ли я часом перед ней, и, если это так, загладить свою вину. Нет я был не-

прав, признаюсь и не спорю! Неужели же она не примет меня, даже если я приду просить прощения?». Дорида нерешительно кивнула головой, отводя глаза то в одну, то в другую сторону, а юноша в отчаянии спросил: «Даже если с мольбой припаду к ее коленям?». «Может быть, милый. Ничто, мне кажется, не препятствует узнать у любимой, как она отнесется к примирению с тобой». Тогда Харисий радостно побежал к дому своей подруги — красивый, трижды желанный, чтобы умолить ее, а очутившись там, сразу же припал к ней. А Гликера сначала любовалась шеей Харисия, затем нежно приподняла[6] его лицо, заставила юношу подняться, незаметно поцеловала свою руку, которой касалась Харисия, и, не раздумывая, с ним примирилась. Теперь ведь владевшая ею страстная любовь не позволяла ей больше притворно отталкивать возлюбленного. А служанка, едва приметно улыбаясь, делала Гликере знаки, говорившие: «только я сумела повергнуть этого гордеца к твоим ногам».

23

Монохор Филокибу[1]

Одновременно, друг, я стал жертвой двух напастей. Если с первой мне удается кое-как справиться, вторая одолевает меня, и я терплю двойную муку: одна ужасна, а другая не лучше. Меня разорили ненасытная гетера и игральные кости, неблагоприятно выпадающие для меня и тем счастливее для моих противников. Но этого мало — когда я бросаю бабки или кости со своими соперниками в любви, мои мысли приходят в замешательство, так как любовь моя неистовствует. Поэтому я постоянно сбиваюсь и проигрываю даже худшим игрокам. Часто из-за своего желания я где-то витаю, так что, когда ход принадлежит мне, я двигаю по доске не свои, а чужие камешки.[2] А придя потом к любимой, терплю там второе поражение, еще худшее, чем первое. Ведь мои счастливые соперники, так как они у меня много выиграли, одаривают мою желанную более щедро — из-за этих подарков она предпочитает их мне; воюя со мной на мои деньги, они сдвигают мои камешки в любовной игре. Таким образом, каждое из обоих зол становится еще невыносимее из-за другого.

24

Мусарион возлюбленному Лисию[1]

Недавно вечером ко мне явилось целое посольство от моих поклонников; сначала пришедшие молчали, и каждый подталкивал соседа, чтобы он сказал мне то, что они сообща придумали; наконец, самый храбрый из них под видом доброго совета, а на самом деле из ревности к тебе, стал выговаривать мне так: «Красотой ты превосходишь всех своих подруг по

сцене,[2] но денег у тебя меньше, чем у них. И хотя можешь иметь от нас, кого[3] презираешь, выгоду, одному Лисию, юноше даже и не привлекательному, ты даром отдаешь свою молодость. Можно было бы переносить, если б стольких затмил один, редкий красавец, и всякий, конечно, простил бы тебе, когда бы выдающуюся красоту ты предпочла деньгам. Однако беспрестанно хваля его нам, ты прожужжала нам уши своим Лисием, так что, еще только пробуждаясь ото сна, мы, кажется, слышим его имя. Это не любовь у тебя, нет, скорее, я думаю, какое-то страшное безумие. Мы просим лишь об одном — скажи прямо, предпочитаешь ли ты его всем прочим: мы не будем препятствовать тому, кого ты любишь». Так они пели мне чуть ли не до петухов, и, если б я хотела рассказать тебе все по порядку, я думаю, солнце успело бы зайти, пока мне удалось бы кончить. Почти все, что они говорили, входило у меня в одно ухо и выходило в другое. Ответила я им так: «Лисия поставил выше вас сам Эрот, который ни ночью, ни днем не перестает жечь мое сердце». Послушай дальше, сладчайший: когда они, разозлившись, стали кричать: «Кто может любить такого урода, такого противного, такого неотесанного?». Я ответила, многозначительно взглянув на них и поведя плечами: «Кто? Я! А теперь прощайте! — добавила я и встала, — извините влюбленную: мне ведь не мила выгода, а мило то, чего я желаю, желаю же я Лисия». А ты, мой дорогой повелитель, скорей, скорей. Быстрота ведь отрадная вещь. Приходи не мешкая, неся с собой только один поцелуй, а я возьму тебя за уши и поцелую трижды. Такого красавца...[4] клянусь Афродитой, которой только что принесла жертву, я буду знать, что богиня милостиво ее приняла,[5] если она пошлет тебя ко мне. Приходи уже, душа моя Лисий, скорее: ведь и так, пока я это пишу, ты теряешь время. В сравнении с тобой все они — сатиры,[6] не люди, и я их ни во что не ставлю.

25

Филенида Петале

Вчера, когда Памфил[1] пригласил меня на попойку, я послала за своей сестрой Телксиноей,[2] нечаянно сама себе доставив, как потом оказалось, большую неприятность. Начать с того, что она явилась, украсившись как только могла; щеки у нее сияли от притираний, волосы были, конечно, тщательно заплетены и убраны перед зеркалом, на шею для красоты надеты дорогие цепочки; много было и других безделушек на груди и на руках. Телксиноя не забыла украсить и голову. Вдобавок — тарентийская одежда,[3] сквозь которую явственно просвечивала ее юная красота.[4] Она то и дело оглядывала свои ноги и нередко проверяла при этом, не смотрит ли кто на нее. Телксиноя садится[5] между мной и Памфилом, чтобы разделить нас, своими заигрываниями приковывает глаза юноши и меняется с ним винными чашами. Ему все это нравилось: ведь он — юноша и влюб-

чив, а вдобавок изрядно был подогрет выпитым. Они, словно губами, целовали друг друга, когда пили из чаши поцелуи, и вино, хранившее прикосновение их губ, доходило у обоих до самого сердца. Памфил надкусил яблоко и метко бросил в складки ее одежды на груди, а она поцеловала это яблоко и спрятала между грудей [6] под повязку, которой они были стянуты. Меня это терзало. Как же могло быть иначе, когда соперницей оказалась моя сестра, которая выросла у меня на руках?! Вот какую я получила награду! Так хорошо она отблагодарила меня теперь за всю мою любовь! Однако всякий раз я вразумляла ее: «Разве это не во вред твоей сестре, Телксиноя? Нельзя, Телксиноя!». Но что там много говорить?! Эта злобная завистница ушла, бессовестно отбив у меня юношу. Как видишь, Телксиноя поступает со мной постыдно. Я призываю в свидетели Афродиту и тебя, Петала, нашу общую с ней подругу, что зачинщица во всем — она. Теперь пусть и Телксиноя почувствует мою злость. Я найду себе кого-нибудь не хуже и обойдусь с ней, как лисица с лисицей [7] (это решено!), или железо пусть крушит железо! Не задумаюсь отбить у этой ненасытной за одного Памфила троих.

26

Спевсипп Панарете

Давно молва расписала мне твою привлекательность: ведь все о ней говорят, но впервые она воочию предстала [1] предо мной. И тем больше я восхищен твоей красотой, чем глаза сравнительно со словом дают лучшее представление о предмете. Кто не был пленен твоим танцем? [2] Кто, взглянув, не влюблялся? Полимния и Афродита [3] — у богов, но обеих их ты представляешь нам на сцене, насколько это вообще достижимо, так как они украсили тебя этим даром. Назвать тебя [4] ритором, сказать, что ты живописец? Ведь ты рисуешь события, воплощаешь в движении какие угодно речи; ты — красноречивое отображение всей природы. Но вместо красок и слов ты пользуешься выразительностью своих рук и разнообразными телодвижениями; словно какой-нибудь фаросский Протей,[5] всякий раз, кажется, принимаешь новый образ под звуки сопровождающей танец песни. Слушатели в восхищении встают со своих мест, стройно кричат в знак одобрения, размахивают руками и одеждами потрясают. А после представления садятся где-нибудь, и один объясняет [6] другому шаг за шагом движения твоего бессловесного красноречия, и каждый зритель в своем восторге превращается в пантомима. Ты искусно подражаешь только знаменитому Карамаллу [7] и потому несравненно изображаешь все Даже вполне серьезному человеку позволительно вкушать от даруемых тобой радостей — ведь забава подчас отдых от серьезного. Как государственному гонцу мне на быстром коне приходилось побывать во множестве городов, в том числе я посетил и старый, и новый Рим,[8] но такой красавицы ни там, ни здесь не встречал. Счастливы поэтому те, кому судьба даровала Панарету,[9] намного превосходящую всех искусством и красотой!

27

Клеарх Аминандру

Однажды вечером какой-то молодой человек долго прогуливался перед глазами понравившейся ему женщины. Другая остановилась подле нее и, толкнув ее локтем, сказала: «Клянусь Афродитой, милая, этот юноша ради тебя ходит здесь и распевает свои песни; он очень хорош собой. Смотри, с каким вкусом окаймлен его легкий плащик, как пестр вытканный на нем узор, как прекрасно юноша поет! Мне кажется, он очень следит и за своими красивыми волосами. Любви ведь свойственно — и это одна из ее прекрасных сторон — заставлять влюбленных тщательно заниматься своей наружностью, даже если до тех пор они совсем пренебрегали этим». «Эротами клянусь, — ответила та, — мне до него при всей его красоте нет дела: он спесив и считает, что один достоин любви и непременно должен нравиться. Пожалуй, он сам назвал себя Филоном,[1] так как воображает, что удивительно мил, смотрит на всех свысока и до крайности заносчив. Я терпеть не могу влюбленного, уверенного, что он превосходит красотой свою любимую, и думающего, будто дарует красоту в обмен на красоту, причем величайшую на малую. Посмотри, какую шутку я сыграю с этим гордецом и насладись как следует тем, что я сейчас буду говорить: „Меня желает какой-то человек, обезумевший от любви, но я не удостаиваю его даже кивка; он напрасно без устали шагает по моему переулку и без всякого толка поет: для моих ушей тщетно и еще более неискусно, чем либитрии.[2] А ему нисколько не стыдно досаждать мне. Клянусь обеими богинями,[3] вместо него я, в конце концов, прячу лицо“». Так она говорила и еще многое в таком же роде, разыгрывая неприступную гордость и при этом подбирая платье, чтобы молодой человек увидел ее стройные голени и маленькие изящные ноги. Обнажала она и другие части тела, насколько это было допустимо, одним словом, всячески разжигала молодого человека. Он же, разобрав ее слова (женщина шептала так громко, что юноша должен был все слышать), отвечает: «Говори, что угодно и сколько угодно. Ты ведь смеешься не надо мной, красавица, а над Эротом. Можно надеяться, что этот стрелок так жестоко тебя ранит, что, валяясь у меня в ногах, ты будешь молить об облегчении своего страдания». А насмешница, глядя искоса и, как делают женщины, ударяя пальцами правой руки по ладони левой, презрительно отвечала: «Это я-то! Ах ты, несчастный! Что б мне, во имя Харит,[4] не дожить до этого! Напрасно обольщаешься: думаешь, что красив,[5] и поэтому веришь, что дождешься, когда Эрот отомстит за тебя. Продолжай же бесполезно петь и не спать по ночам, волнами страсти бросаемый туда, где, как говорится, ветер не дает ни пути, ни стоянки. Ты не получишь ничего, чем я владею, ни моих грудей, ни моих объятий, ни моих поцелуев, но не избавишься, я думаю, от желания».

28

Никострат[1] *Тимократу*

Что это у Кохлиды за манера обходиться со мной? Что у нее на уме, когда она от одного сейчас же переходит к другому? Я, клянусь богами, просто погибаю от всего этого. Невозможно больше ломать голову, невозможно мучиться, придумывая разгадку. Все равно мне ничего не понять, словно на белом камне натянут белый плотничий шнурок.[2] Кто может достигнуть цели, если она непрестанно движется? Одним словом, клянусь богами, я не знаю, что делать. Недаром ее имя Кохлида.[3] Ты сам влюблен в нее, вот и объясни мне, почему она так непостоянна. А если и ты не знаешь, как сладить с этой варваркой, попробуй, дорогой друг, спросить. . .[4] То она ведет себя, точно влюблена, и разжигает во мне страсть, так что я полон лучших надежд, то — Кохлида меняется почище котурн[5] — надменно отталкивает того, кого только что жаждала, и снова лишает меня всякой надежды, внезапным своим непостоянством уподобляя мою душу покрову Пенелопы.[6] Что делать? Что со мной будет? Какие невыносимые муки! Какой чудовищный нрав! До чего же эта вконец избалованная женщина портит свое редкое обаяние! Вразумлять ее или молить — все равно что петь глухому песни. То-то она гонит меня прочь, как я ни противлюсь, сколько ни люблю ее, хотя меня не легко прогнать. Поэтому, Тимократ, я уже не разделяю с тобой этой твоей страсти: ведь быть мужчиной — значит отчетливо видеть все возможности и не обременять себя ненужными печалями. Все же остальное, что связывает нас узами дружбы, пусть не омрачит зависть! Пусть Кохлида самой переменчивостью своего нрава приносит тебе радость и пусть ты будешь с нею много удачливее меня.

КНИГА ВТОРАЯ

1

Элиан[1] *Калике*

Это письмо заключает просьбу за Харидема. О, милая Пейто,[2] будь мне помощницей, дай этим словам, которые я сейчас пишу, удачное свершение! Пусть будут они, как говорят, моей молитвой! Так вот — этот юноша тебя любит, Калика, и горит от зажженного тобою сладчайшего огня; он долго не протянет: жизнь его висит на волоске — он превратился в тень — если ты откажешь ему в спасении, которое в твоей власти. Аполлон, отвратитель зла,[3] пусть твою красоту, женщина, никто не попрекнет убийством, пусть толпа Эриний[4] не накинется на твои прелести! Ты на Харидема в обиде — я знаю. Действительно, он виноват. Но совершил промах по молодости лет и уже достаточно наказан — пусть смерть не

будет возмездием за его провинность. Обдумай все, ради богов, и подражай, насколько это возможно для женщины, своей Афродите.[5] Она властвует над огнем, повелевает колчаном, но и Хариты [6] сопровождают богиню. А ты, стоит на тебя взглянуть, зажигаешь, стоит заговорить — ранишь.[7] Скорее уврачуй Харитами страдающего. Ты несешь огонь, но имеешь и воду. Затуши же сама не медля разожженное тобою пламя. Так я говорю, умоляя. А то, в чем хочу тебя наставить, остается сказать. Я верю, чрезвычайно приятно заставить юношей немного волноваться: это не дает им пресытиться любовными наслаждениями и показывает, что гетеры тоже испытывают любовь. Но если это делать без нужды, влюбленные начинают тяготиться. Один приходит в раздражение, второй посматривает на другую. Быстр Эрот — то он приходит, то улетает. Исполненный надежды, он летит на крыльях, лишившись надежды, обычно теряет перья. Поэтому уловка гетер в том, чтобы, постоянно откладывая наслаждение, надеждой на него удерживать юношей в своей власти. Многие из них уже подбирались к Харидему, всячески склоняя его к любви, и более предприимчивая обязательно умудрилась бы залучить, не зарекись юноша после тебя делить любовь с другой. Так вот, обходись с теми, кто лишь представляется влюбленным, как подобает гетере, а с теми, кто действительно любит, более сердечно. Слушайся меня, соблюдай меру. Смотри, как бы, по пословице, мы не порвали веревку, слишком туго натягивая ее, и как бы гордость не перешла у тебя ненароком в надменность. Знаешь, как Эрот ополчается на гордецов? Кроме того, ты, красавица, торгуешь плодами, и они слаще тех, которые растут на деревьях. Поэтому тебе, вероятно, известно, что долго хранить плоды не годится. Давай своим покупателям вовремя собирать их в твоем саду. Скоро ведь ты станешь старым деревом, а ценители телесной красоты любят не дольше, чем длится ее расцвет, который тешит им взор. Скажу иначе, чтобы ты лучше поняла, и не устану поучать тебя разными примерами. Женщина — как луг; что для луга цветы, то для женщины красота. Пока [8] весна — на лугу трава и яркие цветы, кончается весенняя пора, отцветают цветы, и луг старится. Опять-таки, когда уходит молодость женщины и исчезает красота, какие остаются радости?! Ведь Эрот обычно сторонится безобразного и увядшего тела. Где цветение и благоухание, там селится и живет Эрот. Но зачем я так много говорю, зачем учу дельфина плавать? Смягчи же, красивейшая из женщин, свою душу, пусть душа будет еще прекраснее, чем твое тело, чтобы люди о тебе говорили «как она красива и как добра!» (А роза, даже если никто ею не наслаждается, вянет [9]). Ты кивнула в знак согласия, дорогая? Конечно же, кивнула: я знаю, как ты переменчива и как сговорчива. Поэтому я спешу к тебе и приведу юношу, который через меня возвещает тебе звенящую металлом весть. Жезл ведь у направляющегося к гетерам вестника должен быть вавилонского золота.[10] Прости ему прошлое, будь благодарна за настоящее и ласково обходись с твоим Харидемом впредь.

2

Евксифей Питиаде

В храме, где мы молим богов, чтобы они избавили нас от страданий, со мной случилась великая беда. Когда с воздетыми вверх руками я шептал про себя слова молитвы, сам не знаю как, Эрот внезапно ранил меня. Я повернулся и, увидев тебя, сразу был сражен твоей красотой: взглянув, уже не мог отвести глаза.[1] А ты заметила, что я смотрю на тебя, и, как это делают свободные женщины, немного прикрыла лицо, отвернувшись в другую сторону, и приложила к нему руку, сквозь пальцы которой чуть-чуть виднелась щека. Хочешь, чтобы я был тебе рабом? Я охотно отдам свою свободу. Кто иной может быть другом Питиады, как не Зевс, обернувшийся ради тебя быком, золотом или лебедем? [2] О если б, кроме красоты, я мог хвалить и твою снисходительность ко мне! О если б несговорчивый нрав не спугнул добычу, пойманную в силки твоей красоты! Этой моей мольбе, о боги, если вам угодно, дайте свершиться! А тебе, любимая, клянусь — однако, кем из богов? Может быть, хочешь, чтобы теми, которых я сейчас только умолял?! [3] До тех пор, пока ты пожелаешь оставаться моей владычицей (если б только ты желала этого вечно!), я буду твоим влюбленным рабом.

3

Гликера[1] Филинне

Не в добрый час, Филинна, меня выдали замуж за этого ученого ритора Стрепсиада. Ведь всякий раз, когда надо идти ко сну, он до поздней ночи притворяется занятым своими судебными делами, ссылается на то, что обдумывает их, и, приняв вид оратора, машет руками и что-то бормочет себе под нос. Зачем только он женился да еще на девушке в самом расцвете молодости, раз ему совсем не нужно женщины? Может быть, чтобы обсуждать со мной свои процессы, чтобы ночью я вместе с ним рылась в законах? Но если он превращает нашу спальню в ораторскую школу, я скоро оставлю супружеское ложе, хотя мы и недавно в браке, и стану спать одна, а будет жадно хвататься за чужие дела, пренебрегая нашим, ведение моего я тогда поручу другому ритору. Понимаешь, что я хочу сказать? Конечно же: ведь я обращаюсь к тебе, кто по моим кратким словам легко догадается об остальном. Обдумай все хорошенько — как женщина ты, конечно, посочувствуешь женщине, — хотя я из стыда не могу прямо писать о том, чего мне не достает, и постарайся как-нибудь облегчить мою беду. Тебе, моей доброй свахе [2] и вдобавок двоюродной сестре, нужно печься не только о заключении брака, но прийти на помощь теперь, когда все пошатнулось. Я схватила волка за уши; долго мне не удержать его, а отпустить страшно, чтобы сутяга не возвел на меня ложного обвинения.[3]

4

Гермотим Аристарху

Вчера я стал вызывать Дориду,[1] как обычно, играя в переулке на свирели. Она, наконец, показалась в окне, точно сверкающая звезда, и шепотом говорит: «Я слышу, дорогой, но не могу выйти — мой господин дома. Он не уходит, чтобы помешать мне, любимый, встретиться с тобой. Останься, подожди. Я скоро спущусь, а за маленькое промедление щедрее вознагражу тебя. Потерпи, ради богов! Отчаявшись, не губи сегодняшний вечер, не огорчай живущего во мне влечения, не разжигай горячее пламени». Такими речами она его ободряла, так манила и словами, точно они были любовными стрелами, склонила, если придется, ждать до полуночи. Однако она вскоре спустилась с кувшином на левом плече, удачно придумав, что надо принести воды. Даже так Дорида показалась мне красавицей, словно на ней были украшения из золота. А волосы — что за прелесть! Какие они длинные! Немного убранные с бровей, они пленительно сбегают по шее и плечам. На щеках отблеск истомы, струящейся из глаз; пить ее губами — сладостно, описать — не легко. Дорида говорит: «Пока мы вместе, не будем упускать мимолетных возможностей, которые посылает нам случай». С радостью обнявшись, еще радостнее мы приступили к тому, что за этим следует: ведь возникающие препятствия делают это для влюбленных слаще и желаннее.

5

Парфенида Гарпедоне

Что за голос! Что за лира! Как согласно они звучат, как слиты слова со звоном струн! Воистину Музы здесь неразлучно соединены с Харитами.[1] Глаза юноши сосредоточены на музыке и пении, но, когда он смотрит на меня, сильнее песен чарует мою душу. Если б не таким был Ахилл[2] (я знаю его по картинам в нашем доме), он не мог бы считаться действительно красивым, если б не так играл на кифаре, не был бы учеником Хирона.[3] О пусть бы он пожелал меня, пусть бы ответил любовью на мою любовь! Впрочем, это дерзкие мечты. Какая женщина может показаться ему красивой, если он не взглянет на нее снисходительными глазами? Как сладостно такое соседство, клянусь Музами. Но подчас я испытываю жестокие страдания: хватаюсь за сердце — оно так бьется, что готово выскочить и, кажется мне, горит. Голова то клонится к самым коленям, то бессильно падает на плечи.[4] А видя его, я стыжусь, робею, задыхаюсь от счастья. О сладчайший огонь, кто пролил тебя в мою грудь? Как сильно я страдаю, а отчего это — не могу понять. Меня гложет какая-то странная боль, по щекам неудержимым потоком льются слезы, бесчисленные мысли проносятся в голове: так, отраженный водой в чаше или чану, бегает по

стене солнечный зайчик, своим движением воспроизводя вечно текущий поток вод.[5] Или это то, что люди зовут любовью? Факел Эрота проник мне в самую печень.[6] Почему этот огненосный бог, забыв своих прежних прислужниц, обрушивается на еще непосвященную в мистерии и затевает войну с девочкой, не созревшей для Афродиты, запертой в женских покоях, строго охраняемой, так что при бдительных стражах ей едва удается даже выглянуть из дому. Счастлива дева, не знающая тревог любви, занятая только прялкой! Я стыжусь своего страдания, скрываю болезнь, боюсь открыться кому-нибудь: своим служанкам я не доверяю. О беда! Из-за нее я хожу взад и вперед по комнате и ломаю руки, когда не достает сил терпеть. И нет мне ни исцеления, ни хотя бы краткой передышки. Ведь юноша, мой сладчайший враг, поет свои чудесные песни напротив, и я не знаю, что мне делать. И откуда мне, несчастной, знать, когда я ломаю себе голову над тем, природа и особенности чего мне неизвестны, потому что я неопытна в любовной науке и не знала любовного ложа. Прощай, стыд,[7] прощай, целомудрие, прощай, мучащая меня скромность девственности! Я чувствую зов природы, который, кажется, не признает никаких законов.[8] На время я отучусь краснеть и тогда, может быть, избавлю свою душу от страдания. Весьма кстати я за письмом чихнула. Может, мой любимый подумал обо мне. О если б мы могли насладиться друг другом не только одними глазами, но всем телом! Гарпедона (я нарочно поведала тебе про сладкую боль моей любовной раны), приди теперь и дай мне совет. Скажи, что тебе понадобились нитки для основы, для утка или еще что-нибудь в этом роде. Прощай и, клянусь Эротом, клятвой, которой я научилась у него самого, сохрани все это в полной тайне.

6[1]

Зная, что любим, ты воображаешь о себе, заносишься, поднимаешь брови,[2] окрыленный своими мыслями, прямо-таки паришь в облаках, свысока смотря на нас, ступающих по земле, и сильнее своей матери-флейтистки, играя, надуваешь щеки. С чего, Формион, ты так быстро поверил, что она тебя любит? Может потому, удивительный ты человек, что красив лицом? Желаю ей быть столь же красивой: она это заслужила. Наслаждайтесь друг другом подольше, и пусть ваш ребенок пойдет в отца.[3] Кинжал нашел свои ножны. Ты победил, отбив мою возлюбленную. Вечно ты стараешься попасться мне на глаза, что-то бормочешь и улыбаешься. Тебе доставляет удовольствие вызывающе смеяться мне в лицо и хвастливо махать руками. Тебе любо издеваться надо мной, потому что насильно прогнал меня от возлюбленной. Но я смеюсь еще веселее: ведь я втолкнул тебя к ней, и мое поражение лучше, чем твоя, как говорится, кадмейская победа.[4] Ведь победителю, который одержал верх в борьбе за что-нибудь нестоящее, не следует завидовать.

7

Терпсион Поликлу

Девушка-служанка влюбилась в любовника своей госпожи. Начало ее любви положила необходимость прислуживать им обоим. Часто девушка слышала их нежные беседы друг с другом, так как стояла неподалеку на страже и следила, чтобы кто нежданно не появился. Случалось, девушка видела и то, как они обнимаются. И вот Эрот со своим факелом и стрелами проник через уши и глаза к ней в сердце. Служанка сетовала на свою судьбу: у рабов и любовь — рабыня. Ведь она не имела права разделять радостей своей госпожи и могла только, подобно ей, испытывать желание. И как же девушка поступила? Эрот не оставил ее без своей помощи. Однажды, когда госпожа послала ее за своим любовником, служанка прямо без обиняков сказала ему: «Если, милый, хочешь, чтобы я тебе помогала и наперед служила с охотой — но что говорить? Как от человека, опытного в любви, от тебя, конечно, не утаилась моя страсть. Но нравлюсь ли я тебе, раз ты сам так красив? Скажи? Согласен? Согласен, я знаю». А молодой человек (ведь служанка была хороша собой и вдобавок девушка) тут же — сказано-сделано — и с превеликим удовольствием стал исполнять ее просьбу, сжав молодые яблоки ее грудей и вкушая простодушные поцелуи. Ведь поцелуи женщин лишены непосредственности, поцелуи гетер — лицемерны, поцелуи же девушек искренни, как и их нрав. Они несут с собой нежную влажность и теплоту учащенного дыхания, потому что сердце — у самых губ, а душа — у самого своего порога: если приложить руку к груди, слышно ее трепетание. Так они вдвоем проводили время, а коварная госпожа, осторожно и неслышно ступая, подкралась к любовникам и в страшной ревности стала тащить служанку за волосы. Та же стонет и говорит: «Судьба не обрекла заодно с телом и душу мою тебе в рабство. Я почувствовала желание. Это же позволено. Остановись, ради богов. Тебе, кто сама любит, следовало бы жалеть влюбленную. Не оскорбляй, госпожа, нашего общего владыку, Эрота, чтобы невольно не оскорбить собственной любви. Ведь и ты его раба: обе мы несем общее иго». Так сказала служанка. А госпожа шепотом говорит юноше, взяв его за правую руку: «Как настоящий сицилиец, Эмпедокл, ты воруешь зеленый виноград [1] и собираешь урожай в винограднике совсем молоденькой девочки, которая не умеет даже целоваться. Ведь девушка, еще не посвященная в таинство Афродиты, не приносит радости на ложе, потому что не обучена любовным ласкам, а такая женщина, как я, имеет достаточный опыт в делах любви, чтобы доставить себе и возлюбленному тысячу радостей. Женщина целует, девушку целуют. Ты убедился в этом. А если забыл, подойди, любимый, и я сладко дважды и трижды напомню тебе, какие богатства способна дать».

8

Теокл Гипериду

Я был влюблен в красивую девушку Аригноту. Родители, как полагается, отдали Аригноту мне в жены, и брак воистину был сладостным: я получил ту, кого любил. Можно было думать, что эти узы крепки, зная, сколь прочен брак, если в основании его, по счастью, лежит любовь. Но жестокий Эрот склонил меня к перемене, и теперь вместо Аригноты я люблю свою тещу. Что делать? Как, отбросив стыдливость, говорить с ней как с любимой и в то же время соблюдать приличия, поскольку она — теща? Ведь она по доброму расположению называет своего зятя сыном. Как мне заводить любовные беседы с женщиной, которую я часто звал матерью? Поэтому, выйдет у меня что-нибудь или не выйдет, и в том, и в другом случае я несчастный человек! Вы боги, отвратители зла, избавьте меня от этого нечестья! Пусть я никогда не дотронусь ни до дочери, ни до матери.

9

Дионисиодор Ампелиде

Ты, наверное, думаешь, что причинила мне горе, бросив столь пылкого возлюбленного, как я. Меня же это, клянусь твоей красотой, не так тревожит в сравнении с другим, гораздо большим несчастьем — по простоте и неопытности ты преступила страшную клятву. Но я хочу, чтобы ты не была в ответе перед богами, блюдущими нерушимость обетов, если и разлюбила того, кто тебя любит, и не сумела сохранить клятв. Но я боюсь (пусть эти слова будут произнесены, хотя я и молю, чтобы они не сбылись), как бы боги не покарали тебя. Это мне страшнее, чем лишиться твоей любви. В моей беде я тебя не виню и поэтому никогда не перестану, милая, умолять Дику,[1] чтобы она не наказала тебя за твои проступки, но, даже если снова по своей прихоти совершишь что-нибудь недозволенное, опять пощадила и даровала прощение, подобающее твоему юному возрасту. У меня достанет сил сносить свою несчастную любовь, только бы не видеть, что ты терпишь муки. Прощай! Да простят тебе боги твою вину! Какой оскорбленный, скажи ради Зевса, писал более мягко.

10

Филопинак Хроматиону[1]

Прекрасную я нарисовал девушку и влюбился в свою картину.[2] Искусство зажгло во мне страсть, не стрела Афродиты: собственная рука нанесла мне рану. Как бы счастлив был я, если б не было дара живописи

у меня! Я бы не полюбил тогда несовершенное изображение. А теперь всякий равно восхищается моим искусством и сострадает моему безумию: в глазах всех я столь же злосчастный влюбленный, сколь умелый живописец. Но зачем я убиваюсь и проклинаю свою руку? По картинам я знаю Федру, Нарцисса, Пасифаю.[3] С Федрой не всегда был сын Амазонки,[4] Пасифая была охвачена совсем необычной страстью, и стоило охотнику протянуть руку к источнику, как желанный юноша пропадал, растекаясь под пальцами. Ведь источник изображает Нарцисса, а картина — и источник, и жаждущего красоты Нарцисса.[5] Моя любимая со мной, сколько я хочу, она — прекрасная собой девушка, и, если я протягиваю руку, не исчезнет, а сохранит свой образ. Она сладко смеется, чуть приоткрыв рот, и, кажется, что слово у нее уже на губах и еще немного с них слетит. Я часто приближаю ухо к ее рту, чтобы уловить, что она шепчет и, не слыша ничего, целую ее губы, нежные лепестки щек, прекрасные глаза и пытаюсь склонить девушку к любви. А она, как гетера, разжигает меня молчанием. Я увлекаю ее на ложе, заключаю в объятья, прижимаю к груди, чтобы утишить свою страсть и, в конце концов, дохожу до исступления. Потом понимаю, что обезумел и страшусь погибнуть из-за своей неодаренной жизнью возлюбленной. Губы ее в расцвете, но не дают плода поцелуя. Что пользы, если волосы прекрасны, когда это не настоящие волосы? И я плачу и умоляю, а нарисованная девушка глядит на меня незамутненным взором. О если бы, златокрылые мальчики Афродиты,[6] вы одарили меня такой же, но только наделенной жизнью подругой, чтобы я увидел нечто лучшее, чем произведения искусства — девушку, цветущую красотой жизни. Я с радостью поставил бы рядом свою картину и творение природы, чтобы насладиться их совершенным соответствием друг другу.

11

Аполлоген Сосии

Я бы желал, если б это было возможно, спросить каждого в отдельности, кто когда-нибудь любил, подпадал ли он под двойные чары, разделяя свою любовь между двумя женщинами сразу? Ведь любя гетеру, я, чтобы забыть ее (на это была моя надежда), женился на порядочной женщине, однако нисколько не остыл к гетере, прибавилась только любовь к законной супруге. Когда я с одной, не забываю другую, рисуя себе в душе ее образ. Я уподобился кормчему, который должен справляться с двумя ветрами: один дует отсюда, другой — оттуда; оба они сражаются друг с другом за корабль, катят в противоположные стороны волны, гонят каждый в своем направлении. О если б, подобно Эротам,[1] поселившимся рядом в моем сердце, и женщины, не ревнуя, могли бы ужиться между собой!

12

Евбулид Гегесистрату

Даже нищета не может исправить злонравную женщину и научить ее хоть в чем-нибудь подчиняться супругу! Я намеренно женился на бедной девушке, чтобы не страдать от надменности богачки.[1] Я полюбил ее сразу, но сначала из-за бедности девушки жалел. Мне казалось, я сострадаю ее незавидной судьбе, так как не понимал, что такое сострадание — начало любви. Жалость ведь нередко порождает любовь. Однако, несмотря на свою бедность, она намного превзошла гордостью и надменностью любую богачку. Сущая Диномаха нравом и именем,[2] только что не пускает в ход рук, но, наподобие жестокой повелительницы, сурово правит мной, не уважает меня как человека немалого достатка и не боится как своего мужа. Таково ее приданое. Клянусь Зевсом (сейчас только вспомнил), еще вот что: мне на удивление она принесла с собой страсть к роскоши, словно торопится сделать меня нищим. Никаких денег ей не хватает, если б они и были неисчерпаемы, как вода в реке. Я показываю ей иногда свой гиматий[3] и, по-аристофановски намекая на ненасытность ее требований, говорю: «О, ты слишком плотно ткешь...».[4] Ни разу она не обратила внимания на мои слова. Так как я ее люблю, меня больше всего печалит пренебрежение ко мне этой неблагодарной. Вот как тяжко мне приходится! Вижу только один конец — прогнать эту варварку к воронам,[5] пока мне не стало еще хуже. Ведь чем терпеливее мужья, тем жены решительнее наступают. Прочь, чудовище! Решено, постановлено! Медлить я не намерен, потому что вижу ее насквозь. Когда, как говорится, медведица тут, незачем искать следа.

13

Хелидонион Филониду

Напрасно тревожишься, сладчайший мой, напрасно думаешь, что я могу любить кого-нибудь, кроме тебя, чтобы так милостива была ко мне Афродита! Все время, пока ты был в отъезде, я помнила и любила тебя. Но ты бросил меня спящую и поспешил в Мегару. А я, проснувшись, стала так причитать: «Не Филонид ты, а Тесей — покинул спящую и ушел». Теперь все зовут меня Ариадной, но ты для меня и Тесей, и Дионис.[1] У тебя не звенело в ушах, когда в слезах я вспоминала тебя? Если б ты знал, что, лежа ночью без сна, я думала о тебе и спрятала письмо, написанное твоей рукой, между грудей, стараясь успокоить этим готовое выпрыгнуть от любви к тебе сердце, ты бы тысячу раз поцеловал меня. Я знаю, знаю, почему ты стал подозревать меня: как гетера, ради платы водящая знакомство с юношами, я притворяюсь влюбленной в своих поклонников в надежде сильнее разжечь их желание. Ведь, чтобы не докучать тебе вечными просьбами, мне нужно брать деньги у других. А ты меня бранишь, забыв,

что я только притворяюсь. Не надо, прошу, молю и обливаю слезами мое письмо! Я поступила дурно, признаюсь, если можешь выслушать чистосердечное признание. Хочешь — покарай меня чем угодно, но не губи нашей любви. Только этого наказания я не перенесу, клянусь твоим луком, стрелами которого ты сладко ранишь меня. Впредь я постараюсь не доставлять тебе огорчений — ведь я люблю тебя, Филонид, не как свою собственность, а как самое себя. Это я написала, Эроты свидетели, задыхаясь от слез и каждое слово сопровождая стоном.

14

Мелитта Никохарету

Если б Эрот тотчас не рассеял гнетущие нас злые чары и Афродита, прекрасного сына[1] прекрасная мать, быстро не пришла на помощь в беде, нас бы навеки разделяли непримиримый раздор и постоянная вражда. Напрасно ликовали те, кто завидовал нашей любви: из их козней ничего не вышло.[2] Поэтому, желанный, клянусь Эротом,[3] охраняющим мою и твою любовь, когда я вчера бегом прибежала к тебе, я плакала от счастья, без устали целовала дорогой мне дом, трогала стены руками и потом целовала свои пальцы, радуясь от всего сердца и сладко улыбаясь. Но одновременно не могла поверить во все это и говорила себе: «Бодрствую я или меня смущают сны?». Из-за того, что я так к тебе стремилась, какое-то неверие родилось во мне. Когда же ты увидел свою Мелиттарион,[4] словно говоря, что давно ждал моего прихода, радостно поднял палец и от удовольствия выразительно повел им в воздухе. Благодарение богам, покровителям влюбленных, за то, что они оживили нашу страсть: теперь я чувствую, как она выросла и окрепла. Ведь любовные нежности кажутся после разлада еще слаще.

15

Хрисида Миррине

Мы, милая, знаем о любовной страсти друг друга. Ты жаждешь моего мужа, а я безумно люблю твоего раба. Что делать? Как каждой из нас найти удобный выход, чтобы удовлетворить свое желание? Знай, что я молила Афродиту[1] дать мне совет, как быть, и богиня тайно вдохнула в меня мысль, которую я доверяю тебе, Миррина, чтобы ты ее следующим образом выполнила. Сделай вид, что очень рассердилась на своего раба, владыку моей любви, и с побоями прогони из дому, но, ради богов, бей осторожно, соразмеряя свои удары с силой моей страсти. Красавец Евктит, разумеется, побежит ко мне, приятельнице своей хозяйки; тут я сейчас же пошлю к тебе мужа, якобы для того, чтобы он молил госпожу за раба, прямо-таки вытолкаю его с этим поручением. Таким образом, каждая из нас получит своего любимого и сумеет, руководствуемая Эротом, спокойно и без помех воспользоваться выпавшим ей счастьем. Но как можно

дольше растяни свои любовные радости, чтобы мне тоже подольше насладиться. Прощай и перестань оплакивать раннюю смерть своего мужа: судьба взамен посылает тебе в возлюбленные моего.

16

Миртала Памфилу[1]

Ты пренебрегаешь любящей, ни во что меня не ставишь, я у тебя на последнем месте, а моя любовь, для тебя — доступное всегда удовольствие. Нередко ты даже проходишь мимо моего дома, словно никогда его не видел. Заносишься ты, Памфил, конечно, потому, что я не захлопывала перед тобой дверь, говоря: «у меня там другой», но впускала без лишних слов. Не поступай я так, ты бы горел и не меньше меня сходил с ума от страсти. Я избаловала тебя потому, что слишком сильно любила и не умела скрывать этого. Все вы становитесь надменными, когда понимаете, что вас любят. Понятно, что ты думаешь только о Таиде; она кажется тебе красавицей оттого, что твои домогательства напрасны.[2] Ты бегаешь за ней, оттого что она издали обходит тебя: что с трудом дается в руки, то нам мило, а когда устаешь безуспешно уламывать подарками свою Таиду, хотя цена-то ей самое большее четыре обола,[3] волей-неволей вспоминаешь обо мне. Во всех своих горьких бедах виновата я сама. Ведь сколько раз я клялась покончить с этой глупой привязанностью, но стоило мне опять увидеть тебя, тотчас я бежала к тебе, как сумасшедшая, забывала обо всех клятвах, была чересчур щедра на ласки, сладко целовала, слишком крепко стискивала в объятьях и позволяла трогать себя за груди. Ты думаешь, я всегда буду так сговорчива и готова служить тебе, но, Эротами клянусь, впрочем, сам увидишь! Зачем произносить клятву до конца, когда на деле я могу доказать свою решимость и твердость в намерениях?! Прощай! Заклинаю тебя грудями и поцелуями Таиды, оставь меня в покое.

17

Эпименид Аригноте

По доброте душевной, женщина, ты предупреждаешь меня; слова твои продиктованы горячей заботой. Ты ведь говорила: «До каких пор, юноша, будешь ты упорствовать в своем намерении, никогда не пропуская удобного случая? У меня есть муж. Напрасно не позорь меня. Иди своей дорогой, пока он ничего не заметил, чтобы такой славный юноша не погиб по моей вине».[1] Однако, если так ты уговариваешь меня,[2] можно из этого заключить, что никогда[3] не любила и не видела влюбленных. Твои слова ясно говорят о неопытности. Влюбленные не знают стыда, даже если их забросать грязью, не знают робости, даже под угрозой смерти: нипочем им плыть, споря с волнами и ветром. В этом больше почтения к Афродите,

чем в благовониях и жертвах. Оставь свои советы — они неразумны и совершенно вздорны. Бесстрашному в любви неведом трепет, и потому я буду подражать отваге лаконян. Ведь у них матери говорили своим сыновьям (мне же — что еще выше — это велит сердце): «Со щитом или на щите!».[4] Перед лицом такой красоты я с радостью соглашусь выбрать между любовью и смертью. Мечу кости — теперь либо трижды по шесть,[5] либо три! Не подумай, красивейшая из женщин, что это письмо только дело моей руки и моего языка, иначе далеко уклонишься от истины. Оно доказательство охваченной страстью души, которая рассказывает о своем страдании.

18

Мантитей Аглаофонту

Женщина по имени Телксиноя,[1] выдавая себя за порядочную, опускала покрывало на самые глаза и, робко выглядывая из-под него, незаметно для них безжалостно проводила молодых людей. Ведь и волк похож на собаку, самое лютое животное на самое ручное. Памфил, уж не знаю как, с первого взгляда в нее влюбился. Когда красота женщины потоком влилась в его глаза, он воспылал к ней страстью и потерял покой, словно бык, ужаленный оводом, но не смел открыть свою любовь, так как был смущен ее наигранной неприступностью. Женщина же, будучи многоопытной, поняла, что творится с юношей...[2] Человек этот подошел к влюбленному не как сводник, а как досужий любопытный. Рассказав множество чудесных историй, он объявил, что сумеет при помощи заклинаний покорить для него эту женщину. Сначала, получив с Памфила немалое количество золота, он начал бормотать какие-то непонятные слова и привел эту женщину к самым ногам юноши, как сам он хвастливо выразился, указывая на приближающуюся Телксиною. Она пыталась сделать разыгрываемую им комедию как можно более правдоподобной[3] и потому во время обеда, по примеру порядочных женщин, закрывала лицо и едва притрагивалась к тому, что подавалось на серебряной посуде, зато чуть не проглатывала вместе с едой золотую. Затем призналась, что испытывает ответную любовь, впервые теперь узнав это чувство; Телксиноя делала все, что делают влюбленные: непрестанно заливалась слезами, горевала из-за того, что полюбила, или оплакивала измену своей чистоте, одним словом, казалось, что критянин в жизни не видел моря. А тот, кто представлялся магом, при каждом ее слове или движении восхищался собой, поднимая руку в знак превзошедшего все ожидания успеха. Так это повторялось и раз, и два, и три, и без конца. А когда незадачливый влюбленный был в результате изрядно ощипан и оказался голее обтесанного кола, они оставили разоренного юношу и совершенно от него отвернулись. Тогда он, мучимый любовью, стал умолять чудодея волшебным колесом[4] приворожить Телксиною; до такой степени он был во власти их низкой игры. А тот в ответ:

«Мое искусство, дорогой, требует для подобных вещей подходящего времени, кроме того, ты получил уже достаточно». Одурачив так молодого человека, оба исчезли. Она представилась порядочной женщиной, а он, как на сцене, разыграл чудодея, беспрестанно призывал демонов, бормотал какие-то несуществующие имена и нашептывал наводящие ужас слова выдуманных волхований; при этом, разумеется, сам дрожал, но уговаривал стоявшего рядом юношу не бояться.

19

Архилох Терпандру[1]

Посмотри, ради Зевса, как женщина исподволь склоняет свою рабыню к сводничеству! Она спрашивает: «Привиделось ли мне, служанка, как бывает во сне, или это действительно было, что поздно ночью перед дверьми нашего дома собралась веселая ватага юношей,[2] которые друг перед другом старались угодить мне[3] своей песней. Ведь в переулках никому не возбраняется шутить, смеяться и петь. Музами клянусь, они чудесно пели, прямо как Сирены!». «Ты, госпожа, слышала все наяву, — отвечает служанка. — Один из юношей, кудрявый, с только пробивающимся пухом на щеках давно уже влюблен в тебя; его зовут Гиппотал, но и без этого его сразу можно признать — так он красив. Часто Гиппотал заводил со мной разговор про тебя: „Мне бы хотелось, — говорил он, — потолковать с твоей госпожой“, но я боялась передать тебе его слова». Госпожа тут же стала расспрашивать дальше: «Значит, милая, его намерения тебе известны?». «Конечно», — подтверждает служанка. Тогда госпожа продолжает: «Пусть этот юноша, будто я ничего не знаю, снова пройдется здесь и споет: если он мне понравится, я вознагражу его». В следующий раз молодой человек появился в венке из роз, пел лучше, чем всегда, был признан красавцем, и оба наслаждались, не только приникнув один к другому грудью, но поцелуями сопрягая самые души. В этом ведь поцелуя осуществление, к этому его стремление. Ища друг друга в поцелуе, души встречаются у губ, и их соединение невыразимо сладко.

20

Океаний Аристобулу

Молодой влюбленный по имени Ликон горячо выговаривает неподатливой женщине, под дверьми которой он долго и бесплодно томился. Умоляя ее, он говорил ей все, что тысячу раз уже говорили влюбленные любимым: «Разве тебя не трогает моя юность? Разве ты не чувствуешь сострадания к моей любовной тоске? Владей мной, покорив непокоренного ни девушками, ни юношами!». А она отвечает по примеру скифов так: «Обращаться ко мне — все равно, что бить огонь, дуть в сеть, забивать губкой гвоздь и делать другое, в равной мере бессмысленное». В конце кон-

цов, юноша от полной безнадежности рассердился и, разгоряченный негодованием, с надувшимися на шее жилами, стал жестоко упрекать свою желанную: «Как ты злонравна, — сказал он, — и уже слишком женщина, как черства, свидетели земля и боги. Можно только дивиться, что такая душа живет не в звере!». Она немного склонившись щекой на левую руку и вызывающе упершись правой в бок, говорит: «Я тебе отплачу за эти слова. Твой язык немощен и мелет одни глупости, однако вот мой ответ на твои речи. Звери, блуждающие на вершинах гор, редко нападают на человека, но стоит им попасть ему в руки, как возбуждаемые охотой, они привыкают к лютости. Точно так же как этих своих выкормышей, вы научаете нас быть безжалостными и жестоко обходиться с юношами. Влюбившись же сами, вы располагаетесь у наших дверей прямо на голой земле, неустанно молите у нас хотя бы словечка и в слезах клянетесь всеми богами, ведь клятвы у вас всегда готовы слететь с губ. Но, как волки любят ягнят, так и вы женщин: ваша страсть — настоящая волчья любовь. Насытив же вволю свое желание и успев превратить недавно любимых в любящих, вы начинаете заноситься, высмеиваете их красоту, презираете несчастных и с отвращением отплевываетесь от только что столь желанных наслаждений. Слез ваших хватает на один день — их можно утереть как пот, а клятвы, как вы сами говорите, не доходят до ушей богов. Ступай прочь, Ликон, ни с чем, разевая пасть, как голодный волк,[1] и не зови дикими зверями тех, кто сам опасается попасться[2] в их лапы».

21

Габроком[1] Дельфиде

Жадными глазами я повсюду высматриваю женщин не для того, клянусь Зевсом, чтобы сблизиться с ними (не думай обо мне так дурно), но ради точного сравнения тебя, кто всех превосходит красотой, с ними, чтобы сопоставить ваши образы и тогда судить. И, клянусь Эротом, который меткой стрелой ранил мою душу, ты коротко говоря, всех решительно превосходишь всем — повадкой, красотой, прелестями. Они у тебя действительно подлинные и совершенно, по пословице, голые: природный румянец разлит по щекам, брови на белом лбу черные, голову нет нужды увенчивать — ее достаточно украшают волосы, и, как роза блещет больше прочих растений, будь они сами по себе и прекрасны, так и ты превосходишь всех прославленных красавиц. Поэтому, моя пчелка, ты пленяешь и притягиваешь к себе все взоры особенным образом, не так, как рыбак ловит рыбу, птицелов — птицу или охотник — молодого оленя. Ведь они завладевают своей добычей при помощи приманок, клея[2] и еще чего-нибудь в этом роде. Ты же порабощаешь нас, уловляя любующиеся тобой глаза. Дельфидион,[3] мое бесценное сокровище, да будешь ты жить долго, да будешь жить счастливо! Меня влечет только к тебе одной, и я молю всех богов, чтобы всегда оставаться верным своему правильному выбору.

Ты, моя радость, наслаждайся дарованным тебе природой превосходством, а я пусть вечно испытываю блаженство, даруемое золотой стрелой Эротов! Не пытайся вырвать ее из моего сердца — тебе это не удастся и будет против моей воли: ведь не нежеланна мне моя страсть. Поэтому дни мои пусть проходят лишь в том, чтобы любить Дельфидион и быть любимым ею, говорить с любимой и слушать ее речи.

22

Харидем Евдему

Когда жена еще развлекалась в спальне со своим любовником, нежданно вернулся из чужих краев муж и с криком стал стучать в дверь. Услышав шум и громкий голос, женщина вскочила на ноги и стала мять постель, чтобы уничтожить отпечаток второго тела как явную улику любви. Затем, успокаивая своего любовника, она говорит: «Не бойся, дорогой, и не страшись, если я сейчас свяжу тебя и выдам мужу». Она связала его, отперла дверь и стала звать мужа, крича, будто захватила вора: «Я его поймала, муж, он хотел нас ограбить!». Муж в ярости бросился, чтобы убить злодея на месте, но жена удержала его, уговаривая, что куда лучше утром передать вора коллегии одиннадцати.[1] «Если ты боишься, муж, я не лягу и буду сторожить его. . .».[2]

[23]

Теокл Мирону[1]

Что мне сказать, Мирон, о твоей наглости? Какими словами оплакивать нашу с тобой дружбу, так плутовски тобою преданную? Ведь и красавица Хорина в твоих руках, да и сам ты спасся от гнева — и моего и отца этой девушки, над которой ты так явно надругался: приплыв ночью на каком-то рыбацком суденышке, ты прельстил ее любовью, а нас обманул видимостью дружбы. Я потерял и тебя, моего друга, и лишился любимой девушки. О чем думали те рыбаки, что приняли тебя к себе вместе с молодой девушкой, хотя ты и чужеземец и ночью вышел из города? За рыбака, что ли, сочли они тебя, вместо рыб уловляющего на суше девушек! Как изменчивы Афродита и Посейдон! Но я виню и самого себя за то, что познакомил тебя с отцом красивой девушки, моим другом, — поэтому-то ты участвовал у него, как водится, в гостеприимной пирушке — и так-то ты отплатил мне и радушно принявшему тебя Диоклеонту! Не укрылось от меня, как ты любезничал с матерью во время пирушки: ты ее до небес превозносил, конечно, за ее добродетель и красоту, между тем она еще недавно была гетерой, и это ты знал. Она очень лукаво соединила с твоей рукой руку дочери, покрасневшей при этом, и дважды шепнула тебе на ухо. . .



ЕВМАТИЙ МАКРЕМВОЛИТ
«ПОВЕСТЬ ОБ ИСМИНИИ И ИСМИНЕ»

КНИГА ПЕРВАЯ

Город Еврикомид[1] и тем хорош, что морем увенчивается и реками омывается, и лугами богат, и всевозможной роскошью изобилует, но и в благочестии ревностен, и еще более, чем золотые Афины, он весь — алтарь, весь — жертвенный дар, богам приношение. Он соблюдает праздники, справляет торжества, приносит жертвы и Зевсу и прочим богам.

В этом Еврикомиде наступает пора Диасий,[2] и по жребию назначают вестников. Ведь обычай и неписанный закон города таков: в дни священных торжеств мечут жребий о знатных еще неженатых юношах, и тот, на кого он падет, увенчанный лавром, отправляется вестником в город, определенный жребием.[3] Жребий, милый мой Харидук, выпал мне; и вот я в венке, и священный вестник в Авликомид.[4]

Я выхожу из храма с головой, увитой лавром, в хитоне священнослужителя, в великолепной обуви. Народ встречает меня со всяческим почетом: светочи, кимвалы, факелы, напутственные песнопения, все, что приличествует этому священному дню. Весь город поднялся, и каждый спешит ко мне: иной меня целует, иной заключает в объятья, иной пляшет передо мною, все стараются почтить на свой лад. Глядя на это, ты сказал бы, что поток, неистовый и многоводный, волнами заливает меня, вестника. У всего города на устах одно: «Исминий вестник, вестник не куда-нибудь, а в Авликомид».

И вот я прибыл туда; к чему рассказывать обо всем, что было в пути? Прихожу я, друг мой, вестником, а принимают меня в Авликомиде, словно я не вестник, а бог. Сбегается народ, украшают улицы, миртовыми ветвями устилают мне путь, благовониями напитывают воздух, окропляют всех розовой водой. Меня же толпа обступает и, словно блистательный хоровод, охватывает кольцом, подобно тому, как Сократа[5] некогда окружали его последователи. Всякий увлекает меня к себе, почитая за счастье, если у него остановлюсь я, в честь великого торжества великим городом посланный вестник.

Берет верх Сосфен: колесницу для меня подводит, к дому своему приводит, принимает с великим гостеприимством и в сад вводит. Сад этот преисполнен был прелестей и услады, зеленью изобиловал, весь в цветах: ряды кипарисов, кровли из тенистых миртов, виноград в курчавых локонах лоз, фиалки глядят из листьев и, кроме благоухания, услаждают взор; иные розы возникают из чашечки, иные лишь бременеют цветком, иные уже распустились, есть и такие, что, расцветши, успели осыпаться. Лилии украшают сад, радуют обоняние, манят взоры, с розами соперничают. Если б тебя поставили им судьей, не знаю, кому присудил бы ты победу. При виде всего этого мне представилось, что я попал в сад Алкиноя,[6] и я перестал считать вымыслом прославляемые поэтами Елисейские поля.[7] Ведь лавры, мирты, кипарисы, виноградные лозы и другие растения, которые украшали или, вернее, составляли сад Сосфена, протягивают, словно руки, свои ветви, как бы в хороводе, осеняют сад и лишь тогда дают лучам солнца коснуться земли, когда веяние легкого ветра колеблет листву. Глядя вокруг, я воскликнул: «Ты залучил меня в золотую клетку, Сосфен!». Водоем вырыт глубиной около четырех локтей; на пращу похож водоем. Полая колонна в середине соответствует центру образуемого водоемом круга. Колонна каменная, камень многоцветный. Фессалийского камня чаша на верхушке колонны, над ней позлащенный орел, извергающий воду из клюва. Чаша принимала воду. Орел распластал крылья, словно желая омыться. Козочка, согнув передние ноги, пьет воду; пастух, сидя подле, тянет ее сосцы. Она пьет воду, он же цедит белое молоко. И пока козочка утоляет жажду, пастух не прекращает своего дела, а молоко льется сквозь дырявое дно стоящего под выменем подойника. Сидит здесь и заяц: правой передней лапой он роет землю, находит источник и окунает мордочку в воду. По краям водоема сидят ласточка, павлин, голубь и петух — всех их Гефест[8] сковал и сделал искусный Дедал.[9] Вода каплет из их клювов и, мелодически струясь, наделяет птиц голосом. Шелестит и листва деревьев, колеблемая ветром. Внимая этому, ты бы подумал, что сладко поют птицы. А вода, совсем прозрачная, меняла свои оттенки в зависимости от цвета камня. Дно водоема было устлано островным камнем; белый, он местами был покрыт черными прожилками; чернота эта спорила с искусством живописца: из-за нее казалось, что вода непрестанно движется, волнами вздымается и выгибается. Края водоема украшал хиосский, лаконский и фессалийский камень, а середину — многоцветный, состоявший словно из сотни оттенков, чередой сменявших друг друга. Зрелище было необычайно и исполнено прелести: разноцветный камень водоема, птицы, извергающие воду, фессалийская чаша, позлащенный орел с водяной струей в клюве.

Вокруг — ложа, не деревянные и не слоновой кости, но благородного камня. Основания их из фессалийского камня, бока украшены халкидским. Подле лож поставлены полушария: мастер вытесал их из пентельского камня[10] для отдохновения ног. Миртовые деревья со всех сторон осеняли

ложа; деревья буйно ввысь устремлены, сплетены друг с другом, как бы стремясь создать кровлю. Все это, Зевсом клянусь, видя, я всецело был поглощен зрелищем и едва не онемел.

Сосфен говорит мне: «Сними знаки посланничества, сними венок вестника, возляг с нами».

И вот, сняв венок, вестнический хитон[11] и священные сандалии, я опускаюсь на ложе. Рядом со мной ложится Кратисфен, мой родственник, мое второе «я» (ведь так я определяю друга), сопровождавший меня в Авликомид. Итак возлежим я, Кратисфен, Сосфен и Панфия, его супруга. Зачем подробно перечислять все угощения и услаждения? Деве Исмине, своей дочери, Сосфен велит разливать вино. Поясом девушка подобрала хитон, до локтей обнажила руки, а ниспадавшие на них складки тонким шнурком подняла к шее. Сев возле голубя, она омыла руки: клюв птицы был помощником в этом ее труде. Затем она подносит серебряный сосуд к клюву орла и сразу наполняет до самых краев — с такой силой била струя. Рядом с сосудом девушка ставит кубки, заботливо и тщательно их ополаскивает. Теперь она готова служить гостям. Сосфен выпил вино (он не уговорил меня выпить первым), затем Панфия. Мой черед был третьим. Исмина подошла ко мне и, протягивая кубок, «Привет тебе», — прошептала. Я молчал, но с наслаждением выпил, ибо прекрасен был кубок, вино сладостно, прозрачна и свежа вода.[12] Ничто не может быть желаннее для человека, мучимого жаждой, разгоряченного, томимого зноем. Вслед за мною и Кратисфен пьет этот нектар[13] — только так я могу назвать авликомидское вино. Мы принялись за разнообразные и изысканные яства, а вскоре опять вернулись к вину. Девушка приблизилась ко мне и чуть слышно: «От соименной, — говорит, — девы тебе кубок» и ногой касается моей ноги и нажимает на нее, пока я пью. Я покраснел, клянусь богами, и поднял бы ее на смех, если бы не думал, что это произошло случайно. Затем мы вновь ели и вновь пили. Девушка подошла, смешивая для меня вино; она протянула мне кубок, я тяну руку, чтобы взять и уже берусь за кубок, а она не отнимает своих рук. Ведь дева у меня и подавала кубок и держала его: вид делала, что подает, а на самом деле держала. Схватка рук; рука целомудренной девы побеждает руку целомудренного вестника. Смущенный поражением, я сказал деве языком вестника — свободно и целомудренно: «Ты не хочешь дать мне кубок? Чего же ты хочешь?». При этих словах она опустила кубок, задрожала с головы до ног, больше обычного залилась румянцем, опустила глаза и стояла, словно пораженная громом, и стыд был на лице у нее.

Панфия обращает глаза на дочь, глаза, полные гнева, полные негодования, налившиеся кровью. Она обводит взглядом ее голову, ее руки, ее ноги, ее шею — всю Исмину охватывает она глазами, на всю гневается, на всю негодует. Панфия краснеет (удивительная, мне кажется, вещь румянец, порождаемый гневом), потом снова бледнеет, точно вся ее кровь отлила к щекам Исмины.

А Сосфен, пристально взглянув на дочь, качает головой, тотчас отводит глаза и говорит: «Время Диасий! Почтим пиром Диасии! Безраздельно предадимся ликованию, безраздельно предадимся торжеству! Зевс присутствует на нашем пиру, и пир этот — Зевсов, ибо вот этот (Сосфен указал рукой на меня) — вестник Зевса».

Кратисфен, который возлежал со мною рядом, безмолвно ударяет меня рукой, ногой наступает мне на ногу и шепчет «Молчи». Я не понимал, что со мной происходит: краснел, бледнел, не мог сказать слова, страшился, дрожал, стыдился самого себя, Сосфена, Панфии, Исмины, всех присутствующих и даже моего Кратисфена. Глаза я вперил в стол, чтобы избежать взглядов Исмины.

Снова девушка, повинуясь приказу, смешивает вино и после Сосфена, своего отца, и после Панфии, своей матери, подходит ко мне, вестнику. Сосфен говорит: «О, вестник Исминий, вот праздничный кубок, выпей его в честь Зевса, и да будет тебе благо; благо за пиром, благо за вином, благо в вестническом труде твоем». Я же: «Благо и тебе, Сосфен, — ответил, — оказавшему нам столь богатый и столь пышный прием!». А девушка, стоя со мной рядом, рукою мне в руки подает кубок, свои взоры с моими сплетает. Я протягиваю руку взять кубок, а она сжимает мне палец и, сжимая, вздыхает, и легкий вздох ее поднимается словно из самого сердца. Послушавшись Кратисфена, я молчал. Так закончился пир.

В отведенный нам покой нас провожали Сосфен, Панфия, дева Исмина и три рабыни. Одна несла чистую воду, другая держала на плече серебряный чан, у третьей в руках была белоснежная пелена. Мы входим в наш покой. Сказав мне «Прощай», Сосфен вместе с Панфией уходит. Мы же с Кратисфеном легли на ложа, богато постланные и таровато. Рабыня, которая несла чан, поставила его на пол у моего ложа, другая налила воду, а дева Исмина опустилась на колени и стала омывать мне ноги: ведь и это тоже было священной обязанностью по отношению к вестникам. Она касается моих ног, крепко их держит, обнимает, стискивает, украдкой целует и поцелуи скрывает, а под конец щекочет ногтями. Я, до тех пор сносивший все молча, невольно рассмеялся. Исмина подняла голову и, пристально взглянув на меня, едва приметно улыбнулась и снова опустила глаза, хотя я не обращал внимания на знаки ее любви. Она вытирает мне ноги, взяв из рук служанки пелену, и со словами «Прощай, вестник!» уходит. Я тотчас же погрузился в сон, утомленный яствами, вином и своими вестническими обязанностями. Около третьей стражи ночи [14] прекрасный Кратисфен будит меня словами: «Не подобает всю ночь так покоиться вестнику».[15] Я старался, движимый стыдом и дружбой, расстаться со сном, но он не расставался с моими глазами: ведь обильные яства, вино и усталость — источник сна. «Что тебе не спится, Кратисфен, — спросил я, — зачем от моих ресниц гонишь сладкую дрему?». Он же стал расспрашивать о том, что было за пиром и почему я рассмеялся, и принялся бранить мой язык, говоря:

Немногословный язык, конечно, сокровище в людях,
Но приятней всего и здесь соблюдение меры.[16]

Я ему в ответ: «Что было за трапезой, Кратисфен, ты сам знаешь, ибо возлежал рядом со мной и тоже пил нектар, а с Исминой было у меня вот что: в первый раз, подавая мне вино, она „Привет тебе", — прошептала, во второй — „Из рук соименной девы прими кубок" чуть слышно, таясь от чужих ушей, говорит, и, пока я пил, она ногой нажимала на мою ногу. В третий раз девушка подносит мне кубок и, подавая, снова удерживает. Что я на это сказал, ты слышал, видел и все, что было потом: негодование Панфии, гнев отца, как он покачал головой, заметил и замешательство девы, и ее молчание, и испуг, и как она залилась краской, заметил и все остальное, что Исмина, словно громом пораженная, претерпела. Мало того, клянусь моим священным жезлом, я сам испытывал стыд и преимущественно из-за твоего наставления молчать. В четвертый раз мы пили вино в честь Зевса-Спасителя,[17] и опять Исмина сжимала мне палец. Вот что было за пиром. А что было здесь в нашем покое? Она омывает мне ноги, приникает к ним, стискивает пальцы, целует и, целуя, поцелуи скрывает, а под конец щекочет мне подошвы. Тогда, как ты слышал, я рассмеялся».

Кратисфен воскликнул: «Счастливец! Тебя любит дева, и дева столь прекрасная! Что же ты не разделяешь ее любви?».

«А что такое любовь?» — спросил я.

Кратисфен во второй раз громко воскликнул: «О Геракл! Какая нелепость! Какая простота! Да будут к тебе благосклонны Эрот, владычица Афродита и все любовные привороты!».

Я спрашиваю Кратисфена: «Что это такое? Кто наставит меня в этом?».

А он в ответ: «Природа живых существ не нуждается в наставничестве».[18]

И вот мы снова предались сну.

КНИГА ВТОРАЯ

На следующий день мы опять в саду, насыщаем взоры его прелестями, вбираем усладу в наши души. Ведь сад этот — блаженное место, край богов, весь он прелесть и услада, отрада для глаз, для сердца — утешение, успокоение для души, стопам отдохновение, покой всему телу. Таков сад.

А его ограда — она-то какова! — тоже чудо — вся расписанная умелой рукой живописца, ровно настолько она поднималась ввысь, чтобы охранять сад от взоров и вторжений. Четыре девы изображены на ограде. Голова первой блистательно венцом украшена. Камни на венце сверкают, пламенем искрятся, сияние источают, влаги полны. Взглянув, ты сказал бы, что камень соединил в себе несоединимое — воду и пламя; то и

другое сладостно, то и другое прекрасно. Пламя полыхает багрянцем, вода сверкает молниями — столь правдиво передал мастер природу драгоценных камней. Жемчужины их окружают; они белы, как снег, совершенно круглые, необычайной величины.

Пораженный, не спуская с них глаз, я в восхищении воскликнул: «Град и угли огненные».[1] А Кратисфен (ведь и он стоял со мной рядом) засмеялся в ответ на мое неудачное сравнение. Волосы волной рассыпаются по плечам девы, как подобает, вьются локонами, и золотом отливают локоны. Ожерелье вокруг шеи серебряное с золотыми точками. Сапфир — застежка ожерелья. Руки у девы белые и поистине девические. Правая, приподнятая и слегка изогнутая, касается головы и сверкающего на лбу карбункула, левая держит чудной красоты шар. Правая нога у девы без сандалия, левая скрыта хитоном. Хитон совсем простой, скорее деревенский: все украшения мастер расточил на голову девы, остальное же нарисовал, как пришлось.

Следующая за нею дева, вторая по порядку, — воительница; лишь лицо у нее не воительницы, разве только глаза суровее, чем бывают у дев. Шлем осеняет светом и украшает ее голову, щит — грудь, панцирь — спину, шерстяной пояс — бедра; ноги, руки и все тело защищены, как у воина. Рука мощная, как ствол дуба, пальцы же нарисованы девические; всюду, где она не была прикрыта доспехом, воительница выглядела девой, всюду, где была защищена, дева представала воительницей. Щит в левой руке у девы, если хочешь, назови ее воительницей, в другой — длинное копье, оружие Арея.[2]

Следующая за ней — истинная дева: скромна всем обликом — лицом, одеждой, обувью. Не цветными каменьями, как у первой девы, не жемчужинами, как у той, что нарисована прежде всех, а листьями и цветами увенчана ее голова. Только розы не доставало в венке, потому ли, что живописец о ней забыл, потому ли, что не пожелал нарисовать, потому ли, что краски не способны передать цвет розовых лепестков. Волосы девы лишь немного ниспадали вниз: их сдерживал венок. Белая накидка покрывала голову и лоб. Тонок, как паутина, хитон девы, бел цветом, пят достает, просторен. Правая рука так покоится на ее теле, что скрывает правую грудь; пальцы лежат на левой, целиком ее прикрывают, охраняя. Безгрудой, ты сказал бы, взглянув, она изображена. Вторая рука придерживает хитон у бедер: в лицо девы, видно, дует порывистый ветер и развевает складки хитона. Столь скромна дева, дерзок ветер, легок хитон; но нежнокожей девы не касается проясняющий небо борей.[3] Правую ногу дева обвивает вокруг левой, прижимает к ней, сплетает с нею, бедро приближает к бедру, голень к голени, чтобы сквозь тонкий хитон не просвечивало тело. Черные сандалии на ногах, сандалии сделаны прочно, точно не для девичьей ноги.

Четвертая и последняя дева, кажется, появилась из внезапно рассеявшегося облака и словно глядит с небес. Вся она соткана из воздуха.

строга на вид, но прекрасна лицом. Красен ее хитон, но есть в нем и белизна. Белизна ли это тела, проступающая сквозь хитон, живописец не позволяет решить. Волосы девы прекрасно собраны на затылке, глаза обращены к небу, весы и факел в руках; весы — в правой, факел — в левой. Ноги до кòлен сковывает хитона плен.[4]

Так выглядели девы; а чем они знамениты и кто такие, нам страстно хотелось узнать. Мы замечаем надпись над головами дев — ямбический стих, разделенный так, что каждая дева получала свое имя. Стих таков:

Разумность, Доблесть, Скромность с Справедливостью.[5]

Тут мы начали рассуждать об облике этих дев, говоря теперь о том, чего прежде не затронули, о блистательном венце первой девы, драгоценных каменьях этого венца, жемчужинах, золоте, обвивающем шею, серебре, сапфире, обо всем облике девы, о деснице, словно говорящей «здесь, в голове — мое богатство», о шаре в левой руке, знаке власти над всем, о простоте хитона, знаке того, что Разумности, разве что в уборе головы, чужды украшения; о воинственном облике следующей за ней девы, в воительницах деве и, наоборот, в девах воительнице; ведь и Доблесть по природе воительница, а по имени — дева,[6] поэтому там, где она не одета доспехом, дева она и именем, и видом, а там, где дает заметить свою силу, воительницей выглядит дева. Подобно тому как живописец сохранил имя в природе воительницы, так и природу воительницы отобразил в имени девы.

Мы говорили о сплетенном из цветов, свитом из вечнозеленых растений венке следующей, третьей девы, о ее гладких волосах, о покрывале на ее голове, о том, как она спереди хитон держала, о том, как груди свои охраняла, о бедре, прижатом к бедру, о стыдливости ее даже перед ветром и обо всем остальном, что живописец так удачно усвоил любезной мне деве. Я беру твою руку, живописец, целую твою кисть, благодарю тебя сверх всего прочего за то, что в венок истинной девы ты не вплел розы.[7] Нет ведь ничего общего между целомудрием и цветком розы, нагло окрашенным, багряным от стыда.

Беседовали мы о лике четвертой девы, глядящем с небесных круч, сотканном из воздуха, чистом, сияющем, о весах справедливости и обо всем, чем живописец подобающе наделил богиню Фемиду.[8] Справедливость ведь смотрит с небес, взвешивает свои приговоры, устремляет взоры в горнюю высь и чужда человеческого.

Мы переводим глаза на картину, следующую за изображением дев, и замечаем колесницу, высокую, блистательную и воистину царскую. Это колесница Креза [9] или одного из владык златообильных Микен.[10] На ней восседал чудесный отрок, совершенно нагой. Глядя на это, я сам застыдился и вспомнил стих:

Не сознавать — беда, но не мучительно.[11]

Стрелы и факел в руках отрока, колчан за плечами и обоюдоострый меч, ноги у него не такие, как у людей, а крылатые; лицом же он так сладостен, превыше всякого отрока, превыше всякой девы, он — как кумир богов, образ Зевса, истинно приворотный пояс Афродиты, истинно луг Харит,[12] истинно услада. Если бы вновь была свадьба Фетиды, если б Гера явилась на праздник, и Афродита, и Афина, и этот вот отрок, если б Эрида смутила пиршество и задумала хитрость с яблоком, если б пожелала, чтобы красивейшая получила это яблоко, если бы Парис вновь был судьей, а яблоко наградой за красоту, тебе бы, отрок, оно досталось![13]

Я сказал Кратисфену: «Что за удивительная вещь искусство живописца! Он — чудотворец более великий, чем природа, он в воображении творит свои замыслы и воображаемое претворяет в краски.

Если желаешь, давай рассуждать об этом отроке. Порок соседит с добродетелью и сплотился с нею. Для подтверждения и нарисован этот отрок: искусство живописца претворило вымысел в подлинную жизнь. Разгадал я твою загадку, мастер, постиг твой рассказ, окунулся в самые твои мысли; и если ты Сфинкс, Эдип[14] — я, если, словно с жертвенника и треножника Пифии,[15] ты вещаешь темные слова, я — твой прислужник и толкователь твоих загадок».

Что еще изображено? Настоящее воинство окружает отрока — города, пестрый сонм мужей, жен, старцев, старух, отроков, дев. Цари, тираны, владыки, повелители земли окружают его, подобно рабам, и не как царя, а как бога.

Две жены сплетаются друг с другом руками; ростом они выше смертных женщин, древнее времен Япета[16] годами. Необычны их лица, необычны морщины, необычен облик, необычен цвет кожи. Одна сверкает, как солнце, и вся источает свет: источают свет ее волосы, источают свет очи, источает свет хитон, лицо, руки, ноги — все источает свет. Другая вся черна — и волосы, и голова, и лицо, и руки, и ноги, и хитон. Ровесницы годами, они отличаются друг от друга цветом кожи, одинаково изборожденные морщинами, они разного племени: первая словно из Ахеи, где жены прекрасны,[17] вторая — из выжженной солнцем Эфиопии.

Окружает отрока и стая птиц; хотя крылья у них не связаны, они следуют за ним, как рабы; весь род потомков Амфитриты[18] в рабстве у отрока, и даже зверь, царящий над зверями, наравне с ними в его свите.

Я спрашиваю Кратисфена: «Почему же птицы не взмахнут свободно крыльями, но противу ожидания и вопреки природе рабски повинуются отроку? Почему лев, кровожадный зверь, царь зверей, перед которым трепещет зверь и весь покрытый доспехом воин, послушен отроку, хотя он и обнажен? Где его когти и грозный взгляд? Где косматая грива, где, наконец, его устрашающее и грозное рыканье? Отчего ни существа, покрытые панцирем (и они окружали колесницу), ни цари, ни владыки, ни тираны не в силах противостоять одному совершенно обнаженному отроку? Почему рыбы и морские твари трепещут перед ним? Из-за факела? Но

ведь им подвластны все моря, все пучины, противоборствующие огню. Из-за стрел и крыльев? Но разве влажные глубины не сильнее?!

Что за жены, что за чудо, что за старость, что за морщины, что за облик, что за порабощение!

О, Зевс и все бессмертные, истинное чудо — эта картина, порождение мысли, создание искусной руки! Но взглянем, если угодно, и на надпись над головой отрока». Ямбы были такие:

Эрот сей отрок, с факелом и луком он,
Крылатый, обнаженный, даже рыб разит.[19]

А Кратисфен говорит: «Теперь уже есть у тебя подтверждения моих слов. Ты спрашивал, каков Эрот; вот он у тебя перед глазами и да будет к тебе благосклонным!».

Я в ответ: «Рассуждай о смысле этой картины и истолкуй с ней в соответствии надпись».

На это Кратисфен: «Эрот наг, вооружен, с факелом и колчаном, крылат. Оружием опасен мужам одним, женам — факелом своим, стрелами — зверям злым, птицам лесным — крыльями, наготой — морским тварям и самому морю. День и ночь, как видишь, покорны Эроту; это ведь те жены, глядя на которых ты дивишься».

Я воскликнул: «Да не познать мне его!».[20]

Приходит Сосфен; мы опять возлежим за пиром. И вновь Исмина прислуживает, и вновь вперяет в меня взоры, и, ставши напротив и слегка склонив голову, украдкой меня приветствует и, приложив палец к губам, велит молчать.

Я оборачиваюсь к Кратисфену: «Видишь? Что это значит?».

А он мне: «Молчи», — говорит.

Девушка приблизилась и, смешивая вино «Приветствую тебя, соименный мне вестник!» — прошептала. Затем, смешивая вино для Кратисфена, говорит, если можно так назвать ее шепот: «Благодарю тебя».

Вновь на столе яства, но не простые плоды земли и не дары моря, какие вкушает житель полей или морского берега, но то, что создала рука и искусство поваров, необычайные, как земнородные рыбы и как морские павлины. Столь изысканно богато угощенье, столь блистательно, столь сладостно, что тешит и взор, и вкус. Мы опять взялись за кубки — ведь обильные кушанья соответственно требуют и питья — и опять девушка смешивает для меня вино, первой отпивает из чаши и, подавая ее, опять шепчет: «Как по воле судьбы имя, так по любви я разделяю с тобой этот напиток». Вдосталь насладившись и разнообразными яствами, и всевозможными приправами, и вином, и различным печеньем, мы заканчиваем пир.

Сосфен говорит: «Благо ночи покорствовать черной.[21] Воздадим ночи положенное».

И «Привет тебе!» — сказав мне, удаляется вместе с Панфией. А Исмина делает вид, что ушибла ногу, и немного отстает от отца своего Сосфена и

матери Панфии, «Привет тебе» сказав и «Послушайся моего отца», удаляется и она.

Мы же с Кратисфеном улеглись, стали беседовать о пиршестве и об Исмине: как она кивает мне, скрывая кивок, как прикладывает палец к губам, велит молчать, как, протягивая мне кубок, «Приветствую тебя, соименный мне вестник! — прошептала, как, смешивая для меня вино, отпила первая, как при втором кубке снова сказала: — И напиток этот я по любви разделяю с тобой, как имя по воле судьбы!». Наконец, вспомнили хитрую уловку Исмины и «Послушайся моего отца».

Кратисфен сказал: «Эрот воспламенил к тебе деву, Эрот завладел ею безраздельно: все это говорит о душе, охваченной страстью, и о языке, пылающем от любви. До каких пор Эрот будет винить тебя за бегство из его стана? Куда ты скроешься от него? [22] На небеса? Но он крылат и настигнет тебя. Скинув хитон, в море? Он опередит тебя и тут. Может быть, на земле? Он поразит тебя стрелой. Ты видел Эрота? Видел факел, стрелы, наготу, крылья? Неужели ты один не подвластен любви? Одинединственный?».

А я ему в ответ: «Позволь мне, друг, оставаться целомудренным,

> ... ведь целомудренных [23]
> Так любят боги, ненавидя всех дурных.

И, смолкнув, мы погрузились в сон.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Около полуночи мне пригрезился страшный сон: я вижу, как в покой входит неисчислимая толпа, вереница мужей, жен, отроков, дев, все со светочами в правой руке, левая у всех с рабской покорностью прижата к груди. А в середине на золотой колеснице отрок с ограды Сосфенова сада, изображенный на ней Эрот, владыка, во всех вселяющий страх. Как гром, обрушился на меня его голос: «Ведите сюда этого своевластного, не ведающего рабства, не трепещущего перед моими стрелами, не страшащегося моих крыльев, хулящего мой факел, стыдящегося моей обнаженности, презирающего мою юность, восхваляющего живописца за то, что он отверг розу, презревшего любезную мне Исмину, за целомудрие так любимого богами».[1] Жалко меня повлекли, с головы до пят дрожащего, совершенно потерявшего дар речи, совершенно обмершего, бессильно лежащего на земле.

«Смилуйся, владыка», — слышу я вдруг и, немного очнувшись и открыв глаза, вижу Исмину, увенчанную розами, с розой в правой руке. Левой она обнимает колени Эрота. «Смилуйся, — говорит, — над Исминием, смилуйся, владыка, ради меня; я сделаю его твоим рабом».

Эрот отвечает деве: «Ради тебя я разгневался, ради тебя и смягчусь».

Тотчас Исмина берет меня за руку и поднимает, уговаривая воспрянуть духом, а владыка Эрот зовет, делая знак рукой, и венчает розами мою голову. Вся толпа при этом испускает ликующие клики, рукоплещет, пляшет, «Исминий» восклицая «дерзостный, непорочный, с лавровым венком в волосах,[2] отвергнувший прекрасную Исмину, — такой же раб, как мы!».

А владыка Эрот сказал прекрасной Исмине: «Вот твой возлюбленный» — и улетел прочь с моих глаз, тяжелым камнем упав мне на сердце. Вместе с ним тотчас же улетела и моя дрема, а я, потрясенный, сел на постели и не мог овладеть собой, непрестанно перебирая в памяти то, что пригрезилось мне во сне. Сердце у меня колотилось, дыхание перехватывало, и я стал звать Кратисфена: «Кратисфен, Кратисфен!». Он соскочил с постели, а я опять сказал: «Я погиб, Кратисфен».

Ступая босыми ногами, он подбежал ко мне и, ласково взяв меня за руку, «Что с тобой, прекрасный Исминий?» — говорит.

Я молчал. Он заплакал и снова говорит: «Что же с тобой, Исминий? Ты молчишь?».

Тогда я сказал: «Я погиб, Кратисфен. Исмина меня губит, Исмина и спасает: ведь, ополчившись на меня, Эрот опустошил весь свой колчан и зажег мое сердце. Если б это было возможно, ты увидел бы, как он, вооруженный, с колчаном и факелом, вторгся в мою душу. Не вестник Диасий я больше, не служитель Зевса, не девственник. Возгорелась война в моем сердце между Эротом и Зевсом. Зевс грозно гремит с небес и оглушает громами, а Эрот, двинув осадные машины, на земле сотрясает акрополь. Один мечет молнии из туч, другой на земле сжигает меня полными чашами огня. Я — твердыня, твердыня Зевса; Эрот же осаждает меня и завоевывает. Я — источник Зевса, исполненный девственных услад. Эрот же изливает меня в источник Афродиты. Вестником Диасий пришел я из Еврикомида, вестником Афродисий[3] пойду из Авликомида; лавром тогда, розами ныне венчаю я голову. Кто столь дерзок душой, стоек сердцем и крепок грудью, чтобы противоборствовать богам и противостоять их осаде и натиску?! Я бессилен, Кратисфен».[4]

Он: «Как же, — говорит, — Исминий, ты — девственник, вестник Зевса, непорочный юноша, а дышишь только Эротом, сам посвятив себя в его мистерии и сам себя наставив?».

Я в ответ: «Нет, сам Эрот — мой мистагог, сам Эрот изменяет мою природу, рука Эрота увенчала эту мою голову, сначала развенчав ее».[5] И я стал рассказывать Кратисфену о моем сновидении, о пестрой свите Эрота, о светильниках в руке каждого, о боге, сидящем на колеснице, о его гневе, о голосе, как гром с небес обрушившемся на меня, о том, как меня влекли, о моих страданиях, о появлении Исмины, о ее заступничестве, о милосердии Эрота и, наконец, о венке.

Он: «Ничего необычайного, — говорит, — с тобой не происходит. Ты влюблен, но влюблен не ты один: это удел многих смертных.[6] В любви

ты счастлив — любимая твоя так хороша, всецело охвачена страстью, и сам Эрот тебе помощник. Прекрасно и то, что ты спал: ведь бессонные от страсти глаза выдают охваченную любовью душу; и, как несдержанный язык не в силах скрыть тайны, так не знавшие сна глаза выдают любовную страсть».

Кратисфен тотчас крепко заснул, моих же глаз сон бежал, и, клянусь богами, мне казалось, что весь я изранен и постель, Эрот тому свидетель, устлана терниями, и, словно невиданная жертва на огне, приносимая в честь Эрота, я беспрестанно ворочался. Я жаждал увидеть день, грезил пиршеством с Исминой, смешивающей вино. «Если она сожмет мне палец, — говорил я себе, — еще сильнее я сожму ей. Но вчера ведь она сжала мой! Пусть еще раз сожмет! Если она сожмет, я тоже сожму, если не сожмет, все равно я сожму. Если ногой наступит на мою ногу, другой ногой я коснусь ее ног, если „Привет тебе“ скажет, „Стократ — привет тебе“ услышит. Если тайно кивнет мне, я кивну открыто, если отопьет из моей чаши, я жадно выпью самое девушку. Если не будет отдавать чаши, вместе с чашей я притяну к себе руку Исмины. Если приникнет к моим стопам и, приникнув, стиснет их и, стиснув, поцелует и, целуя, будет скрывать поцелуй, я тоже приникну к ее стопам и стисну и, стискивая, поцелую, но таить поцелуя не стану. Если будет щекотать мне ногу, я сам стану щекотать ее и заставлю рассмеяться от наслаждения и любви. Если после пиршества почувствует боль в ноге и, отстав от отца и матери, останется одна, я коснусь ушибленной ноги, поцелую царапину, изучу, целебное снадобье разыщу, приложу его к больному месту, смягчу не хуже врача рубец, осмотрю его со знанием дела и залечу. Более я уже не навлеку на себя гнева Эрота, не услышу порицаний за то, что я девственник, не буду осмеян за целомудрие и не претерплю всего, что, Эротом клянусь, вынес! Если пожелает ночных радостей, я возлягу с девой и, выражаясь языком поэтов, возвещу сон безмятежный.[7] Вот он спускается на мои глаза, и я засыпаю».

Лишь только я заснул, Исмина вновь передо мной, и ночь предвосхищает день и пиршество, и все, что я желал увидеть, испытать и совершить, я, как в зеркале, увидел и испытал во сне. Ведь свершением наяву божество меня не удостоило. Сновидение представляет мне все пиршество, и мне кажется, что я, как всегда, возлежу и вижу Исмину, смешивающую вино. Первыми ли, как всегда, выпили Сосфен и Панфия, клянусь Эротом моих сновидений, — точно не помню.

Девушка, смешивая вино, подошла ко мне, я всю ее пил глазами, всю ее впитывал, всю переливал в свою душу. Она: «Возьми, — говорит, — чашу»; я вновь неотрывно на нее гляжу, но протягиваю руку за чашей и сжимаю пальцы Исмины и ее ногу прижимаю своей ногой, «Привет тебе» прошептав девушке едва слышно, как она шептала мне прежде. Она молчала и не ответила на мое пожатие, но покрылась от смущения румянцем. На столе, как обычно, обильные яства; я во сне испытывал голод и

во сне насыщался: пищей и питьем и для глаз, и для души моей была дева Исмина, на нее одну я неотступно глядел.

Девушка вновь подходит, протягивая мне чашу с вином; ведь пришло время пить. Я беру и, отпив немного, возвращаю Исмине почти полной, сказав: «Я разделяю с тобой это вино». Пир, который любовно уготовило ночью сновидение или, вернее, Эрот задал мне во сне, кончился. Мы у нашего покоя; Сосфен с Панфией, как всегда, удаляются, а мы с Кратисфеном ложимся. Около своей постели я вижу Исмину; отбросив стыдливость, я рукой притягиваю ее к себе и сажаю на постель. Эрот ведь — отец вольности. Она же, как полагается деве, стыдится и вначале делает вид, что противится, однако затем уступает, как всякая дева мужчине, так как еще до меня была покорена Эротом.

Исмина потупила глаза, мои же всецело пригвождены к ее лицу: оно исполнено света, исполнено прелести, исполнено услады. Брови черные, чернота непроглядная, изгиб их, как радуга или лунный серп; глаза тоже черные, оживленные, ясностью просветленные; постепенно они сужаются, так что подобны скорее овалу, чем кругу. Ресницы, окружающие веки, черным-черны, глаза девы — воистину отображение Эрота. Щеки белые, белизна полная там, где не краснеет румянец; середина щек алая. Румянец растекается, точно расплывается, постепенно сгущается, он не таков, как его создают рука и ухищрения искусства; его не стирает ночь и не смывает вода. Рот чуть приоткрыт, губы, не плотно сомкнутые, — розовы. Взглянув на них, ты сказал бы, что дева прижала к устам розовые лепестки. Ослепителен ряд зубов — зубы один в один и подходят к губам, словно девы, стерегут их. Лицо — совершенный круг, нос отмечает его середину, и, если б я не трепетал перед Эротом, особенно после того, что перенес, я бы рассказал и обо всем остальном, но умолкну, чтобы отрок вновь не обрушил на меня своих громов.

Я прикасаюсь к руке Исмины, она пытается отстранить руку и спрятать в складках хитона, но и тут я беру верх. Приближаю руку Исмины к губам, целую, кусаю. Она противоборствует и вся сжимается. Я обнимаю ее шею, касаюсь своими губами ее губ, покрываю поцелуями, источаю любовь. Делая вид, что сжимает губы, Исмина любовно кусает мои, скрывая, что целует. Я поцеловал ее глаза и исполнил душу любовью, ведь глаз — источник любви.[8] Я касаюсь груди Исмины, она стойко противится, вся сжимается и всем телом отстаивает грудь, как город свой акрополь: и руками, и шеей, и подбородком, и чревом обороняет и защищает она свои груди; высоко поднимает колени и с акрополя головы льет слезы, точно говоря: «Если он любит, пусть его тронут эти слезы, а если не любит, пусть помедлит с войной». Раздосадованный поражением, я становлюсь решительнее, и, наконец, побеждаю, и, побеждая, терплю поражение, и всецело лишаюсь сил. Ведь едва рука моя коснулась груди Исмины, слабость охватила мое сердце. Я страдал, отчаивался, трепетал неизведанным дотоле трепетом, взор мой помутился, дух был слаб, силы иссякали, тело

стало вялым, дыхание прерывалось, сердце билось, какая-то услаждающая боль, словно щекоча, пробегала по членам, и всего меня охватила несказанная любовь, неизъяснимая, невыразимая. Я чувствовал то, клянусь Эротом, чего не чувствовал никогда! Тут Исмина вырвалась из моих рук или, лучше сказать, руки мои бессильно и беспомощно опустились.

Отлетел от моих век и сон, и я страдал, клянусь Эротом, утратив столь пленительное видение и лишившись милой мне Исмины. Я желал опять заснуть и предаться любви, как предавался ей во сне. Но так как это мне не позволяли ни Кратисфен, ни поздний час, я вновь иду в сад — он ведь начинался у самых дверей дома.

Я был всецело пленен Исминой, пленен и душой, и телом, и глазами, и весь неистовствовал от любви. Вот я подхожу к богу, что был в саду — к нарисованному живописцем Эроту; сначала с рабской покорностью склоняюсь перед ним, затем начинаю укорять живописца за то, что он не нарисовал в толпе рабов Исмины, девы столь прекрасной, столь юной, столь дышащей любовью, столь любящей Эрота и любимой им.

Я не отрываю взоров от картины и говорю Эроту: «Я покорен тебе, владыка! Я не вернусь более в Еврикомид, не буду более причислен к прислужникам Зевса; я — гражданин Авликомида и внесен в число его граждан по списку служителей любви».

На это Кратисфен: «Разве ты не чтишь свой жезл? Разве не чтишь Диасий, вестником которых ты пришел в Авликомид? Разве не чтишь Фемистия, своего отца, и свидетельницу многих лет Диантию? [9] Не предавайся безрассудной страсти! Прекрасна Исмина, необыкновенно прекрасна, и справедливо было бы

Ради подобной жены бремя тягот нести многолетних.[10]

Но отец из-за тебя лишается надежды: ведь он считал тебя опорой старости, теплом в стужу, дуновением ветра в зной. Разве ты не жалеешь свою мать, которая на тебя не надышится, о тебе не наговорится, на тебя не нарадуется и из-за тебя забывает невзгоды старости! Заклинаю богами, Исминий, заклинаю Зевсом, чьим вестником ты ушел из Еврикомида, заклинаю Эротом, чьим рабом ты стал в Авликомиде! Подумай об отцовских сединах, подумай о материнских слезах, подумай о нашей родине, о сверстниках и друзьях, подумай о нашем славном фиасе,[11] подумай о блеске агоры,[12] подумай о песнопениях, которыми провожали тебя отец и отчизна. Подумай об отце — как он будет стенать, подумай о матери — как она будет биться, как будет плакать, воистину жалостно, воистину горестно, как горлица над гибнущими птенцами. Не нектар смешала для тебя Исмина, не авликомидское вино, а забытное зелье Елены.[13] Ты забыл отца, мать, отчизну, сверстников, товарищей, столь блистательную агору и главное священного Зевса-Филия! [14] О злодейки женщины! Воистину, по словам мудрого поэта,

Немощны для подвигов,
Но строить козни — не найдешь искусней их.[15]

Даже Одиссей, который был не вестником, но рабом, чужеземцем, скитальцем, даже он дым отечества ценил дороже не только свободы, но и бессмертия.[16] А ты из-за любовного пламени сделался рабом и предаешь свой вестнический жезл».

Я остановил Кратисфена: «Вот идет Сосфен; молчи, не разглашай моей любви!».

Сосфен обращается к нам: «Все приготовлено для празднества. Настало время пира. Пойдем!».

Снова мы возлежим на привычных местах и снова пьем. Я умалчиваю о кушаньях не потому, что питье мне любезнее, но потому, что вино подносит дева, а дева — Исмина, слаще самого нектара. Снова она смешивает вино, и снова я влюблен, и снова разжигаю свою любовь. Как ветер раздувает в высевках и сене гаснущий огонь, так созерцание разжигает любовь влюбленных. Снова Исмина сжигает мою душу, снова приковывает к себе мои глаза, снова я вижу Эрота, трепещу перед его стрелами, страшусь факела, содрогаюсь перед луком и радостно приемлю свое рабство. Стол изобилует яствами; руки мои тянутся к ним, глаза — к Исмине, помыслы — к любви: так члены моего тела разъединены и части разобщены. Изобилие стола влечет мои руки, питье — губы, глаза — прелесть девушки, а Эрот — помыслы или, вернее сказать, все влечет к себе дева: и руки, и губы, и глаза, и помыслы. Так я изъявляю Эроту рабскую покорность, невиданную дотоле, которую никто и никогда не изъявлял, покорность не только тела, но и души.[17]

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Девушка, как обычно, смешивает вино, а я не как обычно пью и, хотя пью, не пью и, не дотрагиваясь до питья, пью любовь. Пьет Сосфен, а третьим — я, потому что до меня пьет Панфия, и в то время, как пью, прижимаю ногой ногу девушки. Язык ее безмолвствует, но она говорит всем своим обликом и, говоря, безмолвствует; Исмина кусает себе губу и прикидывается, что ей больно, — сдвигает брови, хмурит лицо и тихо стонет. А я страдаю душой от одного ее притворства и отодвигаю свою ногу от ноги девушки, а рукой передаю ей чашу. О яствах, которые стояли на столе, пусть рассказывает Кратисфен или кто-нибудь другой из сотрапезников — для меня и стол, и кушанья, и питье, и все, что там было, — дева Исмина, палец которой я стискиваю, когда она вновь подает вино. Она же «больно», — тихо шепчет. Шепот ее был исполнен прелести и источал любовь.

После третьей и четвертой чаши и после богатых яств пир окончился. Сосфен говорит: «Вестник Исминий, сегодня третий день, как ты пришел

в наш город из Еврикомида; по нашему обычаю, эти дни посвящены прославлению и вестника, и доставленной им вести. Отдохни опять, как обычно, рядом с этим вот (он показал на Кратисфена) прекрасным юношей, а завтра мы отправимся в Еврикомид, чтобы принести жертву Зевсу-Спасителю».[1]

С этими словами Сосфен оставил нас, сказав обычное «Прощай», а мне показалось, клянусь богами, что он зовет меня в подземное царство и, по слову поэта, я уже чувствовал леденящий холод Аида[2] и спросил Кратисфена: «Что говорит мне Сосфен? Исмина здесь в Авликомиде, а я в Еврикомиде? Нет, клянусь богом, изображенным на ограде! С Исминой я умру, с Исминой буду жить».

Я увидел девушку в саду, всецело смятенную любовью. Тотчас обнял весь сад глазами, вернее все глаза устремив на сад, оглядывая весь его и заметив, что Исмина одна, я приблизился и, «Привет тебе» сказав, потянул за хитон. Она вначале молчала и старалась только отнять у меня хитон. Когда же дотронулся до ее руки, «Имей почтение, — говорит, — к своему вестническому жезлу», когда хотел поцеловать, «Разве не чтишь лавровый венок? — сказала, — и священные сандалии?». Когда я не смутился, помышляя только о поцелуе, «Какой тебе прок, — сказала, — в поцелуе?». А я, исполненный наслаждения, девушке:

Сладкая прелесть сокрыта ведь даже в пустых поцелуях.[3]

Дева, слегка улыбаясь: «Вчера ты представлялся девственником, — сказала, — прикидывался целомудренным, а теперь говоришь о любви». Я, ничего не ответив, целую ее руку и, целуя, вздыхаю и, вздыхая, плачу. Она говорит мне: «Почему ты плачешь?».

Я: «Потому что только языком вкушаю мед: ведь твой отец Сосфен увозит меня с собой в Еврикомид».

Она же: «Меня тоже», — говорит. И, вырвав руку, убегает.

Я, словно у меня на ногах выросли крылья, очутился на ложе и притворился спящим: ведь нас потревожил шум чьих-то шагов. Приходит Кратисфен, покинув мирт, в тени которого он сидел, и, притронувшись к моей ноге, говорит: «Долго ли ты будешь так крепко спать? Исмина в саду, а ты лежишь». Говоря это, он рассмеялся.

Я сказал: «Что ты смеешься?».

Он в ответ: «Потому что шаги служанки лишили тебя руки желанной госпожи, а напрасный страх столь удачной охоты».

Я поцеловал Кратисфена, сказав: «Порадуйся со мной, Кратисфен, дева отправляется с нами в Еврикомид».

Вернувшись в сад, я старался вновь встретить Исмину. Так как девушки нигде не было (она ушла), я продолжал стоять, как в зеркале видя перед собой ее облик. Кратисфен же привлекает мои взгляды к находящимся в саду картинам, и за моим Эротом, сидящим на высоком

троне, мы видим разноплеменную, разноязыкую, разноликую толпу людей, разных и по облику и по образу жизни.

Один — воин: воин платьем, воин статью, воин ростом. Весь, как подобает воину, он защищен броней — голова, руки, спина, лоб, грудь, бедра по самые ступни. Так живописец соткал из железа одеяние или, лучше сказать, передал железо красками и покрыл воина до самых ногтей. За спиной колчан и двуострый меч, в правой руке длинное копье, левая держит щит, ноги столь правдоподобно и искусно нарисованы, что, взглянув, ты бы сказал, будто воин движется.

Стоящий за ним с головы до пят одет по-деревенски и с головы до пят пастух. Голова не покрыта, волосы и борода в беспорядке, руки по локти обнажены. Хитон живописец нарисовал до колен, а ноги оставил голыми. Грудь у пастуха косматая, космато и тело, что не прикрыто хитоном, бедра широкие и по-мужски крепкие. У ног пастуха изображена коза, приносящая двойняшек. Великан-пастух помогает козе: первенца держит в руках, второго козленка принимает. И по-пастушьи наигрывая на свирели, он, кажется, славит ее роды и просит Пана,[4] чтобы его козы часто и счастливо ягнились.

Затем нарисован покрытый цветами луг; какой-то человек, точно пчела, приникает к цветам. Он похож не на садовника, а скорее на человека богатого, роскошного, с головы до пят изысканного, с головы до пят исполненного прелести. Прелесть его лица соперничает с красой луга. Волосы сбегают по плечам, они завиваются в красивые локоны. Голова увенчана цветами, и розы рассыпаны в кудрях. Хитон у него до пят, будто выткан из золота, будто расшит цветами и весь развевается на ветру. Руки полны роз и других растений, которые услаждают своим запахом. На ногах сандалии; даже ноги не оставлены без украшений: на сандалиях, как в зеркале, предстает луг. Так живописец, вплоть до ног и обуви, осыпал этого человека своими милостями.

Вблизи луга живописец изобразил зеленую равнину, а в середине ее мужа, одетого как поселянин, с головой, увенчанной не розами, не цветами, а тонкой льняной материей, которую рука ткет и искусство создает; поселянин вооружен луком. Живописец не раскинул его волосы по плечам и позволил им закрыть всю шею. Хитон дал он ему совсем простой, как полагается поселянину, деревенский. Ноги оголил до колен; в руки вложил серп, своим видом и величиной превосходящий обычный. Нарисованный поселянин прилежно срезает траву: глаза его прикованы к траве, и весь он поглощен своей работой.

Землепашец в поле, изображенный за ним, согнувшись, зажал серп в правой руке, а левой собирает сжатые колосья — получает плоды своих усилий, пожинает награду за труды и семена, снимает урожай. На голове у него войлочная шляпа, как говорит Гесиод:[5] видно, он не может с непокрытой головой быть на солнцепеке. Хитон землепашец подтянул поясом до поясницы и все тело, кроме срама, обнажил.

Далее нарисован человек, который недавно вымылся. Он стоит у дверей бани, куском ткани прикрывая срам, остальное тело — голое. Оно мокрым-мокро от пота. Глядя на него, ты бы сказал, что искупавшийся задыхается и совсем обессилел от жары: так искусно живописец сумел передать это красками. Правой рукой он держит конический кубок и, приблизив его к губам, втягивает в себя питье, левая придерживает ткань у пупка, чтобы она не соскользнула и не оставила его совершенно голым.

За этим вышедшим из бани, омывшимся и разгоряченным нарисован человек в хитоне, поднятом до бедер, с голыми ногами, открывающий источник вина. Волосы у него красиво откинуты на затылок. Левая рука уподоблена виноградной лозе, с пальцев, как с веток, свисают грозди; правая снимает виноград, бросая ягоды в рот, как в точило, где зубы, наподобие ног виноградарей, давят ягоды. Ведь изображенный на картине человек — это и виноградная лоза, и виноградарь, и точило, и источник вина.

Следующий за ним юноша только что украсился первым пухом, он не ходит с непокрытой головой: на голову и локоны накинута тонкая, как паутина, льняная ткань. Хитон на юноше белый: он находит на руки, закрывает их вплоть до самых пальцев. Стянутый у бедер, ниже он свисает свободно и словно полощется на ветру. До самых колен живописец обул юношу. Он несет клетки с воробьями, ветки приготовляет, козни против птиц сплетает, хлопочет изо всех сил. Целый луг ветками засаживает, выпускает воробьев, то и дело притягивая их к себе на тоненькой нитке. Их собратья не замечают хитрости, не знают о коварстве. Они видят чудесный луг, летающих на нитке воробьев и сладко чирикающих в клетках, летят к ним на луг и попадают в ловушку. А измысливший все это птицелов подбирает птиц, сворачивает им горло и смеется над их доверчивостью.

Затем живописец нарисовал волов, влекущих плуг, и пахаря в худых сапогах; всю его остальную одежду живописец тоже нарисовал худой, — худой, весь в дырах (и это было искусно передано красками) хитон, худая шапка из валяной шерсти. Лицо у пахаря черное, не как у эфиопа, а загорелое от солнца. Волос сзади почти не видно, ведь вся голова покрыта покрывалом, борода длинная и густая. Правая рука лежит на плуге и прижимает лемех к земле, левая держит бич, эту кисть землепашцев, которая окунается в воловью кровь и покрывает узором землю.

За пахарем нарисован человек, похожий на него обликом, хитоном, обувью, убором на голове и остальной одеждой. Телом же он отличается от пахаря. Хотя лицо у него черное, но не такое, как у того, не так и бело, как у мужа, нарисованного в саду, а сколько чернее, чем у него, столько белее, чем у пахаря. Волосы в беспорядке опускаются до плеч, борода не такая лохматая, как у пахаря, но приглаженная и точно стянутая. В левой руке корзина, другой рукой он берет оттуда семена и разбрасывает по земле. Живописец не дает заметить, затаились ли в бороздах птицы и не достается ли какое семячко им.

Вслед за ними нарисован юноша с сильным телом и дерзким взглядом; он целиком поглощен охотой и погоней, руки у него обагрены кровью, он, видно, скликает собак. Хотя кисть живописца и мастерство вообще искусны, тут они бессильны и не могут красками передать голос. Волосы юноша собрал и свел в пучок. Хитон отлично на нем сидит, будто пришит к телу. Живописец спустил его до колен юноши, все остальное, кончая пальцами, покрывает какой-то рваный пеплос,[6] подвязанный, точно плющом, веревкой. В левой руке заяц, потому что правой юноша ласкает своих собак: они вертятся у его ног и, видно, играют.

Наконец, живописец нарисовал полные огня котловины и пламя, полыхающее до самого неба, так что не понять, изливается ли огонь с высоты на землю или с земли взлетает до небес. Какой-то дряхлый старик сидит у огня, весь в морщинах, весь белый, с седой головой и бородой, шкура одевает его с головы по самые бедра, все остальное тело обнажено — руки, ноги, бóльшая часть живота. Он вытянул руки и точно ловит огонь, точно манит и притягивает к себе.

Такие изображения мы видим, дивимся необычности нарисованного, жаждем узнать, что они значат, особенно Кратисфен: меня ведь всецело поглотила страсть к Исмине. Все остальное и все услады сада были для меня усладами, пока я не узнал Исмину, вернее, пока не воспламенился любовью к ней. Поэтому я обвожу сад глазами, видя Исмину, словно в зеркале, а Кратисфен замечает над головами нарисованных мужей ямбический стих; он звучал так:

В мужах сих полностью ход времени ты зришь.[7]

Тут мы стали рассуждать об их облике.

Первый, воин, обозначает время, когда всякий воин выступает в поход, весь облекшись оружием.

За ним нарисованный пастух, ягнящаяся у его ног коза и словно поющая свирель показывают пору, когда пастух после зимы выгоняет стадо, а козы ягнятся, и звучит пастушья дудочка.

Луг, розами цветущий, цветами блистающий, и муж, стоящий по середине, убранный цветами, изображают пору весны.

Зеленая равнина и срезающий траву поселянин ясно представляют время, когда высоко поднявшаяся трава ждет покоса.

Стоящий среди колосьев и жнущий их серпом изображает тебе лето.

Омывшийся, голый, утоляющий жажду, разгоряченный говорит тебе о жаркой поре, когда восходит созвездие Пса и сжигает людей своим зноем.

Давящий и собирающий виноград показывает тебе пору, когда собирают и давят виноград.

Следующий за ним птицелов намекает тебе на время, когда птицы в страхе перед зимними холодами улетают в теплые края.

Видишь пахаря за плугом? Это время, которое некий мудрый поэт из-за захода Плеяд отвел для пахоты.[8]

Рассыпающий вслед за ним семена — это сеятель: он указывает на пору посева.

Видишь юношу в окружении собак, вон того, с зайцем, который ласкает свою свору? Он представляет тебе пору охоты. Ведь когда кладовые наполнены хлебом, вином и всем, что следует запасать впрок, а будущее обеспечено семенами для поля и огорода, время посвящается отдыху, охоте и травле.

Этот седой старец весь в морщинах, сидящий перед огнем очага,[9] говорит тебе о жестокой зимней стуже, но также и о зябкой старости. Ведь холод не продувает он девушки с кожею нежной, но старца бежать заставляет.[10]

Так рассуждая о картине, мы возвращаемся домой — настало время сна. Кратисфен лег на свое ложе, а я остался в саду, стремясь увидеть Исмину, и не спускал глаз с ворот. Ведь раненный любовью ум сам в себе воссоздает любимый образ, привлекает взор к своему созданию и, кажется, видит воображаемое. Так пламя любви, попав в душу, меняет и переделывает самое природу.

Кратисфен, встав с ложа, увлек меня в дом, сказав:

Ночь уже на дворе — хорошо нам ей покориться.[11]

А я ему: «Теперь мы поглядели на все изображения, прочитали надписи и отнесли каждую, куда следует; к лету, зиме, весне, — всем временам года отведена своя пора. Эрот же на картине не нарисован, и она не соединяет его с каким-нибудь временем, потому, конечно, что он подходит ко всякому».

А Кратисфен: «Я могу придраться к твоим словам, и у меня есть довод сильнее твоих — вот перед нами картина, и живописец безупречен. Лету, зиме, весне определена своя пора, как следует из картины и как говоришь ты, но не Эроту. Раз он перепрыгивает мету — это насилие, раз он путем насилия нередко подчиняет нас, это — исключение, а не правило: ведь кисть живописца — копье Гермеса — она заострена тем, что изображает».

Я отвечаю ему: «Но копье притупится от красок, в которые погружается. Ведь Эрот на картине изображен царем, и весь род людской с рабской покорностью окружает его; те же, кому художник усвоил ту или иную пору года, тоже люди, а раз весь род человеческий служит Эроту, как же его часть может избежать общего удела? Если всякий отрезок и промежуток времени состоит, словно из вещества, из дня и ночи, а они, согласно картине и твоим поучениям, сами у него в рабстве, ясно, что все, порождаемое из них, через них и в них, не только не избежит рабства, но против воли будет порабощено».

С этими словами я поцеловал Кратисфена, прибавив: «Я победил тебя, Кратисфен!». А он в ответ: «Пусть будет так, ты победил, но пойдем домой».

Возвратившись к себе, мы легли. Какой-то шум в саду заставил меня подняться. Я вижу у водоема Исмину, подлетел к ней, вспомнил о ногах Эрота, которые в отличие от людских крылаты, и превознес живописца, нарисовавшего картину: ведь Эрот окрылил сейчас и мои ноги.

Смело я охватил девушку руками и поцеловал. А она от стыда и неожиданности «Что с тобой? — закричала, — как ты дерзок, вестник».

Я же: «Ничего, — сказал, — кроме этой горькой и сладчайшей любовной страсти».

И снова стал целовать ее, снова стискивал в объятии, притягивал всю ее к себе, словно заключал в сердце, сжимал пальцами, всю кусал, всю ее впивал губами и весь приник к ней, как плющ к кипарису. Я сплетался с девушкой, как деревья корнями, старался слиться с ней воедино, жаждал всю ее поглотить и всю ее вновь исторгнуть, всю ее я притянул к губам и, словно из сот, из губ ее пил губами сладкий мед.

А она в этот миг кусает мой рот, все свои зубы зарывает в него, а у меня в душе вырастают Эроты свирепее гигантов.[12] Когда я от боли сомкнул губы и слегка застонал, она «Больно губам? — говорит, — а я страдала душой, когда ты за столом отца опрометчиво отверг мою любовь».

Я отвечаю Исмине: «Пусть все тело у меня терпит боль, а губы да пребудут в почете — ведь они служат моим поцелуям. Если же у тебя, как у пчелы, жало и ты охраняешь свои соты и наказываешь того, кто пришел за медом, я не отойду от улья, стерплю боль от твоего жала и соберу мед. Ведь страдание не лишит меня сладости меда, как шипы не отпугнут от розы».

Я снова стал целовать ее, снова сжимал в объятии и пытался совершить большее; она: «Этого тебе не будет, клянусь Исминой», — говорила, а я: «Не перестану, клянусь Исминием», — отвечал.

И началось у нас состязание Целомудрия и Эрота, если только кому-нибудь не будет угодно назвать это Целомудрие Стыдливостью. Эрот с земли подносил чаши огня. Стыдливость, словно с неба, окропляла девушку водой. Эрот опустошил весь свой колчан, а Стыдливость обороняла Исмину, как щит семикожный;[13] он подносил свой любовный факел к самым моим глазам, так что пламя его проникало мне в душу, она источала из очей Исмины целые потоки слез. Но вода Стыдливости не могла залить огня Эрота, и вот уже победа в моих руках, и Эрот поборол бы Стыдливость, если бы у ворот в сад кто-то не стал (о несчастье!) разыскивать Исмину. Сильно испуганные этим, мы расстались друг с другом: дева (пусть снова она будет названа девой — так было угодно Целомудрию и богам) очутилась у водоема и, сев вблизи венчавших его птиц, стала играть ими.

А я вернулся в дом, тотчас лег и из-за стыда, страха и любви почел за лучшее притвориться, что крепко сплю. Мне было стыдно перед своим вестническим жезлом, перед лавром, венчающим мою голову, священными

сандалиями, почтенным хитоном, Диасиями; Сосфена, Панфии и всего Авликомида я боялся, но больше всего жалел Исмину из-за любви к ней.

А прекрасный Кратисфен поднялся со своего ложа и вышел в сад. Не найдя Исмины и не слыша голосов в доме (Кратисфен был свидетелем того, что произошло), он подошел ко мне со словами: «Напрасно притворяешься!».

Я вскочил, весь дрожа, а он прибавил: «Что за трусливый вестник!».

Но я снова задрожал и, стремясь увидеть Исмину, «Я погиб, Кратисфен!» — воскликнул. «Молчи, — говорит Кратисфен, — пойдем спать»:

Ведь мудрость в том, чтоб и средь бед разумным быть! [14]

Я молчал, но сон возненавидел мои глаза и бежал от них прочь. Я лежал бессонный, непрестанно придумывая различные решения, и, наконец, сказал себе: «Впредь не придется мне целовать прекрасную Исмину, впредь любовно не стисну ее пальцев, впредь не обовью ее, подобно плющу, впредь не нектар приготовлю себе, а чашу горечи, впредь не соберу меду, не буду ужален, не вопью девушку губами, откажусь от всего, чего жаждал, заводя с ней любовные игры». Так я думал, и слезы ручьями лились из моих глаз; они захлестнули и затопили мои мысли и, опьянив, усыпили меня.

КНИГА ПЯТАЯ

Когда я заснул, целый хоровод снов обступил меня, играя со мной и, как свойственно снам, обольщал. Один рисовал мне Исмину, нежно со мной играющую, Исмину лобзаемую и лобзающую, терпящую мои любовные укусы и в свою очередь кусающую, всю сплетшуюся со мной и любовно меня обнимающую. Другой положил Исмину рядом со мной и устлал ложе любовными радостями, поцелуями, легкими касаниями, прижиманиями, сплетением рук, ног и тел. Третий создал перед моими глазами купальню и заставил Исмину мыться вместе со мной, пустил в ход все любовные чары; он приблизил к груди девушки мой рот, зубами вонзающийся, губами сосущий, языком провожающий медвяный сок в душу. То же самое девушка сделала с моей шеей. Любовной забавы ради мой сон раскалил купальню; когда я почувствовал жажду и прямо сгорал от жары, он показал мне сладкие источники ее грудей, заставил приникнуть к ним ртом и охлаждал бушующий в моей душе пламень, источая холодящее наслаждение, сладостью превышающее нектар, а под конец усыпил нас в объятиях друг друга.

Другой сон построил брачный покой, богатым свадебным нарядом убрал Исмину, с почетом из родительского дома провожал, как и меня украсил прекрасным венком, усадил рядом, поставил стол, заставил звучать гименей,[1] а вокруг стола поместил пляшущих и, как им привычно, шалящих Эротов.

Новый сон, еще сильнее растравляющий мне душу, показывает сад, вводит туда Исмину, поднимает меня с ложа, подводит к девушке, споспешествует моей любви. Я увлекаю деву сначала против ее воли, удерживаю, стискиваю, кусаю, целую, приникаю к ней и, стремясь совершить большее, борюсь с девушкой и превращаю любовь в распрю. В это время появляется ее мать и, схватив Исмину за волосы, влечет, как захваченную на войне пленницу, и поносит языком, и бьет рукой. А я застыл, словно сраженный громом.

Но этот безжалостный сон не убил во мне чувств и заставил голос Панфии звучать наподобие тирренской трубы,[2] изобличающей меня и сетующей на мой приход: «Какой театр, какое притворство! — говорила она, — о, Зевс и прочие боги! Вестник, девственник, увенчанный лавром посол, принесший в Авликомид весть о Диасиях, тот, кого мы принимали с божескими почестями, — прелюбодей, распутник, насильник, новый Парис[3] в Авликомиде, похищает мое сокровище, выкапывает мой клад! Но ты не уйдешь, разбойник, тать, нечестивец, похититель моей самой дорогой драгоценности. Матери, хранящие свои сокровища, дочерей-девственниц, и неусыпно блюдущие их: вот я держу злодея, который, обманув лавровым венком, почтенным хитоном, священными сандалиями и принесенной им вестью целиком нарядился в шкуру льва, но целиком это театральная игра. Сладкий зефир целомудрия уличает хитрость, обнажает тайну: теперь вестник более не вестник, а тать, разбойник, тиран. Женщины, мы покроем дерзкого каменным хитоном[4] — запечатлеем его лицедейство, увековечим его притворство, на каменном хитоне запишем его дерзость, чтобы это служило женщинам славой, девам опорой и венком Авликомиду

Не женами ль сыны Египта умерщвлялись?
Весь пол мужской от них на Лемносе погиб.[5]

Разве не женщины вырвали глаза Полиместору».[6]

Так она сказала, вооружила целую рать женщин, распалила и повела их против меня, а я содрогнулся, глядя на все это, и стал говорить Кратисфену: «Я погиб, Кратисфен». Он, разбуженный моими словами, вскакивает с постели, ударяет меня рукой и прогоняет сновидение из моей души, а сон с глаз. Мне чудилось, боги свидетели, что женщины все еще передо мной, и я твердил: «Мы погибли, мы погибли: Панфия — предводительница, женщины — войско, а первый, кто пошел на меня за мой обман войной, — Зевс».

Кратисфен говорит: «Ты, мне кажется, еще не проснулся». Я в ответ:

Расстаюсь я с ночным сновиденьем[7]

и стал рассказывать про то, что мне пригрезилось: как сны обольщали меня, какое даровали блаженство, какие картины мне в угоду рисовали и, наконец, про сад, Исмину, ее целомудрие, мою нескромность, про распрю,

появление в это время Панфии, про то, как она повлекла дочь, про ее злоумышление, нападение, дерзость и под конец про женскую рать. «Охваченный из-за всего этого сильным испугом, я стал звать тебя, прекрасный Кратисфен. Боюсь, что божество показало мне во сне будущее: ведь нередко оно предвещает в сновидении то, что ждет человека».

Кратисфен в ответ: «Сон — это то, что заботит нас наяву. Все это тебе пригрезилось оттого, что шум у ворот испугал вас, но я уже вижу, что к нам спешит Сосфен».

«Я, — прошептал я, — погиб».

Сосфен приближался и, дойдя до наших дверей, «Вестник, Исминий, — говорит, — вот весь Авликомид собрался у ворот, все ищут вестника. Увенчай голову, надень хитон и сандалии, весь облекись своим вестничеством, чтобы тебя почтил Посейдон и даровал ради Зевса попутный ветер в Еврикомид».

А я, хотя страшился, хотя дрожал, хотя подозревал Сосфена в притворстве и считал все искусной игрой, облачился в свое вестническое одеяние. Выйдя в сад, я вижу неисчислимую толпу девушек в красивых хитонах и с лавровыми венками, указывающими на то, что они девственны. И вот, клянусь владыкой Эротом, мне показалось, что мой сон сбылся наяву. Еще немного и я испустил бы дух, если б в середине этой толпы, подобно луне среди звезд, не увидел Исмину, всю по-царски убранную, с головой, увенчанной, как подобает девственнице, лавром. Я пристальным взглядом с головы до пят окинул Исмину и, наклонив голову, украдкой приветствовал ее. А она, сделав вид, что поправляет хитон, ответила более откровенным приветом и, сладостно улыбнувшись, наполнила всю мою душу несказанным блаженством, прелестью и успокоением.

Я подхожу к воротам сада и вижу, что весь Авликомид пышно провожает меня песнями, кимвалами, факелами, убранными портиками, розами, цветами, гимнами, громкими кликами, — всем, что подобает не вестникам, а богам. Боясь показаться тебе честолюбцем, стремящимся шаг за шагом описать эти проводы, скажу, что прекрасный, женами славный Авликомид, родину Исмины, я покинул, как олимпионик и победитель в пятиборье [8] и, чтобы не останавливаться на подробностях, возвратился в мой Еврикомид.

И снова весь город поднялся, снова толпа окружает вестника, снова в городе начинается соперничество. Мне кажется, что город Еврикомид, моя родина, соперничал с самим Авликомидом, родным городом Исмины, не уступая друг другу первенства в пышности встречи. И вот столь блистательно, столь торжественно, столь по-царски я приближаюсь к алтарю Зевса-Гостеприимца,[9] а за мной следуют все, кто прибыл со мной из Авликомида.

Мой отец Фемистий и мать Диантия тут же посреди блистательного театра, тут же посреди толпы обвивают меня руками, приникают ко мне, кидаются в объятия, обливают меня слезами радости и ведут домой.

А я: «Пригласите и Сосфена, — сказал, — он пышно и богато принял меня в Авликомиде».

Отец Фемистий исполняет мою просьбу и, подойдя к нему, «Привет тебе, Сосфен, — говорит, — и благодарность Гостеприимца-Зевса за то, что ты привечал вестника» и вместе с нами привел в наш дом и его, и Панфию с Исминой, и остальных, кто прибыл с Сосфеном из Авликомида в Еврикомид. Мы приходим, нас ждет стол, мы занимаем за ним места. С той стороны, где сад, — мой отец Фемистий, мать Диантия и третий я, уже без вестнического одеяния, с другой — Сосфен, отец Исмины, и мать Панфия; порядок пира отводит Исмине место за местом матери. Мысленно похвалив этот порядок, я почитал себя блаженным, видя в этом благоприятное предзнаменование, в самом, как говорится, расположении усматривая залог любовной удачи.

Пришло время наполнить чаши, и между нашими отцами Сосфеном и Фемистием разгорается короткая борьба: не раздор, а прение рассудительных старцев. Побежденный Сосфен пьет первым, а победитель Фемистий вслед за ним (ведь победа для них то, что неразумные люди считают поражением), а после Сосфена и Фемистия женщины почтили молчание, так как молчание — украшение женщин.[10]

После Панфии и моей матери Диантии Кратисфен с кубком подходит ко мне — отец велит ему разливать вино. Я, взяв кубок, отпил немного, а затем возвратил, словно передумал пить, и стал корить Кратисфена за то, что он нарушил порядок пиршества: ведь сидящей напротив меня девушке полагалось пить сперва. Кратисфен не стал спорить и поднес кубок Исмине. Она взяла его обеими руками и как девушка держала кончиками пальцев. Поняв смысл происходящего, Исмина благодарит меня, в знак любви немного наклонив голову, словно кипарис, чуть колеблемый легким ветром. Это движение, полное прелести, было подобием Эрота. Так мы делили между собой кубок, пили сообща и впивали любовь, так в необычном поцелуе, слив губы, глотали пленительный напиток любви и глазами влекли друг друга себе в душу.[11]

Снова пришло время наполнить чаши, снова Кратисфен смешивает вино, снова первым пьет Сосфен, вслед за ним мой отец, затем, в привычном порядке, Панфия и моя мать Диантия, а после нее Исмина, дева, дышащая любовью. Она, как делают девы, берет кубок кончиками пальцев, как дева подносит к губам, едва пригубливает и возвращает полным, прикидываясь, что по-девичьи застыдилась.

Я обращаюсь к Кратисфену (от меня не утаилась ее уловка, потому что я не сводил глаз с девушки, всю ее запечатлевал в мыслях, всю рисовал в воображении; кроме того, вестничество разгорячило меня, и мне хотелось пить): «И мне дай кубок».

А он (что ему оставалось делать?) подал, и, Эротом клянусь, мне чудилось, что я пью самое деву. Я любовно целовал ее губы и, целуя, скрывал, что целую. Услужливый кубок подносил мне губы моей любимой Исмины.

Я пил вино, и, клянусь богами, такая же сладостная влага, какую я пил во сне из груди Исмины, лилась мне в самую душу. Я стал внимательно рассматривать кубок, не осталось ли на краю следов ее губ. А она, заметив все подряд, мое движение и взгляд, и то, с каким наслаждением я пил, нежно улыбнулась, как в зеркале отразив в глазах Харит[12] и Эрота.

После богатых яств, которыми наслаждались только мои руки и рот (ведь глазами и всем, что способно более остро чувствовать, дева любовно завладела, и теперь они служили ей), Кратисфен вновь принимается за свое дело и после наших отцов и матерей с чашей вина подходит к Исмине, а она вновь отпивает немного и девическим голосом говорит матери, словно сосна зашептала бы на легком ветру: «Я не хочу пить, матушка».

Тогда Панфия говорит Кратисфену: «Дитя, возьми кубок». Он, приняв его из рук девушки, передает мне. Снова мне почудилось, что вся дева у меня в руках, и я всю ее впиваю. Я держал чашу, полную поцелуев, передающую поцелуи, и поцеловал поцелуи. Вино было для меня нектаром,[13] который приготовляет Афродита и пьют Эроты, а чаша — зеркалом, отражающим в мою душу всю Исмину с самими Харитами, с самими Наслаждениями.

После множества яств, кубков с вином и всего, чем принято украшать пиры, пир наш окончился. Отец мой Фемистий и мать Диантия провожают Сосфена, Панфию и прекрасную Исмину в отведенный им покой. Так мы расстаемся, и мать моя Диантия обнимает Исмину и целует лицо девушки. Я почувствовал зависть к матери и рад был бы, клянусь богами, изменить свою природу, но, так как это было невозможно, поцеловал мать в губы, при помощи такой уловки целуя лицо Исмины; мать стала пособницей моей любви и передавала мне поцелуи любимой. Не знаю, что мой отец и мать чувствовали к девушке и как с ней расставались. Я же только ногами уходил от нее, оставив девушке свою душу, глаза и помыслы, словно на хранение или в залог.

Когда я лег, мной завладели тысячи мыслей, осаждая мою душу, как добычу, похищая с глаз сон. Я восхищался гостеприимством Авликомида, который простирал его вплоть до того, что мне мыли ноги. «У нас же, где стоит алтарь Зевса-Гостеприимца и где празднуют Диасии, гостям не моют даже рук. Почему я не мою ног Исмины, как она, оказывая мне честь, мыла мои, почему, подобно ей, не целую, не стискиваю и любовно не ласкаю девушку, как тогда она ласкала меня?».

Так я терзался от любви и почти всю ночь провел в любовных помыслах об Исмине. Бессонные мысли об Исмине были моим сном и наслаждением. Но усталость стала закрывать мне глаза, и начался спор между усталостью и любовью; глаза, точно осажденный город,[14] — предмет распри. Тяжелая усталость, точно из какой-нибудь осадной машины, метала в мои глаза сон, а любовь, крепко защитив их нагромождением мыслей, противостояла натиску, но после многих попыток усталость взяла

верх и похитила у любви победу, метнув, словно из жерла осадной машины, легкий сон в мои глаза.

Около третьей стражи ночи[15] отец мой Фемистий и мать Диантия с Сосфеном, Панфией и всеми, кто прибыл с ними из Авликомида, собрались с дарами у алтаря, чтобы принести жертву Зевсу-Спасителю и совершить полагающиеся обряды. Исмину оставили дома одну, так как девам не подобает появляться на людях.[16] А я (это было мне известно) сейчас же устремился к постели Исмины и поцеловал спящую. Она, испуганная этой неожиданностью, вскочила с постели со словами: «Что случилось». Я остановил ее, сказав: «Не бойся, владычица, это я — Исминий» и с этими словами снова поцеловал ее.

Она: «Где отец и мать?» — стала спрашивать.

Я ответил: «Пошли к алтарю Зевса-Гостеприимца, чтобы принести жертвы» и прибавил: «А мы разве не станем приносить жертв Эроту? Пожертвуем ему и нашу девственность и самих себя без остатка». Обнимая и целуя Исмину, я любовно приник к ней.

Она поцеловала меня в ответ, но как девушка стыдливо скрывала, что целует. Я же стал целовать с бо́льшей страстью и, кусая зубами, вкушал любовные яства, которыми Афродита угощает влюбленных. Исмина же негромко стонала от любви, и этот негромкий любовный стон вливал в самую мою душу наслаждение. Приникнув к деве, как к виноградной лозе, и давя ртом еще не спелые ягоды, я пил нектар, который выжимают Эроты; я выжимал его пальцами и пил губами, чтобы он весь до капли, как в сосуд, влился в мою душу. Столь ненасытным я был виноградарем. Она отвечала на мои поцелуи и сама целовала, подобно плющу, вилась вокруг меня; тысячи Харит[17] водили возле нас хороводы.

После объятий, поцелуев и многих других игр, чему научают Эроты, я решил испить любовь целиком и, оставив любовные шалости, перейти к делу, чтобы воро́ны не граяли на недостроенном доме.[18] Она изо всех сил оборонялась — руками, ногами, языком, слезами, «Исминий, — говоря, — пощади мою девственность; не срезай до срока колосьев, не срывай розу, пока она не раскрылась, не тронь зеленого винограда, чтобы вместо нектара не получить уксуса. Ты срежешь колос, но когда нива зазолотится; сорвешь розу, но когда она расцветет, соберешь виноград, но когда увидишь, что гроздья потемнели. Я для тебя неусыпный страж, надежная ограда, неприступная стена. Что тебе за прок похитить мою стыдливость? Я пришла девой в Еврикомид, так что тебе за прок отпустить меня в Авликомид не девой? Я люблю тебя, вестник, и не скрываю своей любви, я ранена в сердце и не таю своей раны, я вся горю и не отрицаю этого пламени, однако не отдам своего сокровища — буду блюсти девственность и соблюду ее для тебя».

Так девушка говорила, и слезы у нее лились рекой. Я в ответ: «Из-за тебя я посвящен Эроту, из-за тебя я из свободного стал рабом, из-за тебя променял Зевса-Филия[19] на тирана Эрота. Ничего для меня не значат

ни родина, ни отец, ни мать, ни сокровища, которые щедро скопил для меня родитель, ничто из земных благ. С тобой я умру». Обняв Исмину, я ее поцеловал, слезы потекли у меня из глаз, и, обнимаясь, мы заливались слезами.

Немного погодя Исмина стала целовать мои глаза, и, целуя, говорит: «Исминий, вот тебе последний поцелуй — ведь через три дня я вместе с отцом и матерью возвращусь в Авликомид, а ты останешься в своем родном Еврикомиде, и отец женит тебя на другой девушке. Ты отпразднуешь свадьбу, забудешь меня, столь любимую ныне Исмину, забудешь поцелуи страстные и объятья прекрасные, которыми мы впустую, как во сне, насладились. А я, я и в Аиде не забуду о твоей любви,[20] сладчайший Исминий, и нетронутой буду хранить для тебя мою девственность. Даже поцелуй самого Зевса не предпочту твоим, нет, клянусь всемогущим Эротом, который вложил меня, словно пойманную птицу, тебе в руки».

С этими словами она приникла лицом к моей груди и омочила ее слезами. Я ответил: «Дева Исмина, моя забота, свет моих глаз, родник мой, текущий медом, поток прелести, любя меня, ты говоришь о прощальном поцелуе! Я же, твой возлюбленный и из-за любви твой раб, умру с тобой и тоже сохраню для тебя свою девственность. Ее не отнять у меня ни отцовской власти, ни материнским уговорам, даже если мне предназначат в жены Афродиту, клянусь Зевсом, отцом всех богов, вестником которого я пришел в твой родной Авликомид, рабом твоей красоты вернувшись к себе на родину, в этот мой Еврикомид».

Когда занялся день, я поцеловал Исмину, вышел из ее покоя и, словно на ногах моих были крылья, добрался до своей постели и тотчас отдал должное сну, будто он ждал меня здесь.

КНИГА ШЕСТАЯ

Мой отец Фемистий вместе с Сосфеном и нашими матерями возвратился от алтаря Зевса-Гостеприимца, совершив надлежащие жертвоприношения.

Мать Диантия, подойдя к моей постели, будит меня, говоря: «Дитя мое, Исминий, время завтракать, а ты еще не прогнал сон с глаз? Вставай и идем к столу: ведь твой отец возлежит уже с Сосфеном и со всеми остальными сотрапезниками». И вот в сопровождении матери я подхожу к столу, и мы занимаем свои обычные места.

Вновь Исмина напротив меня и глазами источает любовь. Пристально посмотрев на девушку, я нагнулся над столом и приветствовал ее, скрывая этот любовный поклон; она в ответ незаметно кивнула, как это делают девушки, наклонив шею. По обыкновению стол украшен богатыми кушаньями, а Кратисфен смешивает вино. Первым пьет Сосфен, вслед за ним Фемистий и в обычном порядке мы.

Сосфен говорит: «Ты, Фемистий, радушно принимая нас, не нам оказываешь почет, а Зевсу-Гостеприимцу. Зевс, отец, да отблагодарит тебя за столь пышные трапезы и прочие твои щедроты, удостоив разделить блистательный пир героев на Елисейских полях и на островах блаженных.[1] А я прошу отправиться со мной в наш Авликомид вместе с Диантией и этим вот прекрасным вестником (он указал рукой на меня) — мы хотим отпраздновать свадьбу вот этой милой моей дочери Исмины. У нас брачные торжества совершаются в пору Диасий, и в скором времени мы, если Зевсу-Спасителю будет угодно, возвратимся в Авликомид. Юноша же, которому предназначено ложе Исмины, наш согражданин, житель Авликомида; его чаша тройная, доверху налитая счастьем: его душевные добродетели несравненны, телесная красота спорит с ними, стремясь не потерпеть поражения, а все прочее соответствует им в полной мере. Такого супруга этой моей милой дочери предназначил я, а еще до меня Зевс. Если ты вместе с Исминием и его матерью поедешь с нами в Авликомид, брачные торжества будут для меня еще счастливее».

Мой отец Фемистий: «Теперь — пиршество Зевса, — говорит, — и время Диасий — отдадим должное тому и другому, будущее лежит на коленях Зевеса».[2]

Так сказал Сосфен, так — мой отец. А я, клянусь богами, вместе с рассудком лишился способности чувствовать и сидел за столом, словно статуя, не сводя глаз с лица девушки.

Глаза Исмины наполнились слезами, она приложила руку к щеке, сдвинула брови и, тяжело вздохнув, говорит Панфии: «Матушка, у меня заболела голова», а та в ответ: «Ступай к себе».

Девушка тотчас встала из-за стола и ушла. Моя мать говорит Панфии: «Кто сглазил эту прекрасную девушку?».

«Отцовский язык, — отвечает она, — упомянувший про брак, о котором мы до сих пор остерегались говорить — ведь Исмина дева и стыдлива».

Дальнейшего я не видел и не слышал — словно слова Сосфена сразили меня, как удар молнии. Ел ли я, клянусь ужасными речами Сосфена, я не знаю. А прекрасный Сосфен, который объявил нам о браке своей дочери, снова начинает говорить: «Довольно нам пировать, Фемистий, довольно было вина и всяких кушаний. Если хочешь, отправимся на покой — ведь ночь снова призовет нас к алтарю и жертвоприношениям».

Так окончилась трапеза, и я, как обычно, ложусь на свою обычную постель; тотчас сон овладевает моими глазами, и я засыпаю, встревоженный душевно нежданным известием и весь погруженный мысленно в свое горе. Снова обычное время жертвоприношений, снова Фемистий, мой отец, и мать Диантия с Сосфеном и Панфией проводят ночь у алтаря, снова я, встав с постели, иду к постели девушки, которую прекрасный Сосфен просватал в Авликомиде, и снова целую ее. Она обливает все свое ложе слезами.

Я снова целуя ее, говорю: «Что с тобой, Исмина?».

Она: «Отцовский язык, — говорит, — губит меня».

Я ей: «Ты, точно в зеркале, видела мой брак, соединила меня с другой девушкой и винила в том, что я забыл любовные радости, которых ты смешала мне полную чашу. А я, сладчайшая дева, слаще самого меда, самих богов призвал в свидетели, что не обману твоей любви, не предам страсти и ни на что не променяю твоих ласк. А теперь твой отец, почтеннейший Сосфен, приготовил тебе брачный покой в Авликомиде, дал богатое приданое, нашел жениха, торжественно в его дом отведет [3] и узы брака крепко сомкнет. Я, влюбленный в тебя (я не стыжусь своей любви), увенчаю голову венком девственности и у Персефоны [4] и других подземных богов торжественно и пышно отпраздную свадьбу и войду в блистательный и девственный брачный покой. Ты же предстанешь перед судом за то, что презрела любовь, тебя будут обвинять любовные ласки и эти следы моих рук и губ, которые остались на всем твоем теле. Тебя Плутос [5] богато уберет, меня Плутон [6] в свадебный покой славно поведет. О поцелуи, которыми мы тщетно насладились, о тиски ласк, которые нас напрасно заставляли терпеть боль, о сплетения и переплетения, в которых мы бесполезно приникали друг к другу, о глаза, на свое горе тебя увидевшие, и с тех пор не высыхающие! Эта рука услуживала моей любви, теперь она будет служить мечу, который пронзит мне сердце».

С этими словами я обнял деву и поцеловал, «Воистину, — говоря, — это теперь последний поцелуй.

Прими последнее из слов моих тебе.[7]

Ведь ты блистательной невестой возвратишься в свой отчий Авликомид к блистательному жениху, и тебе торжественно будут петь гименей,[8] а я спущусь в Аид [9] и, собрав хор Эринний,[10] оплачу свое злосчастье. Для тебя прекрасный Сосфен затянет эпиталамий,[11] а отец для меня — похоронный плач; твой отец, сладчайшая невеста, будет петь сладкую песнь, а мой несчастный Фемистий возгласит над мертвым сыном жалобную; Сосфен во главе хора запоет брачную песнь, а мой отец, несчастнейший из смертных, в одиночестве возгласит печальную и горькую похоронную песнь».

Так я говорил и обливал девушку слезами. Она: «Ты погубил меня, — сказала, — сладчайший Исминий. Ты для меня — отчизна, отец, мать,[12] брачный покой, жених и, по воле любви, владыка. Но (слезы не дают мне говорить) пусть уста моего отца не поглотят у тебя тех нежностей на моих губах, которые тщетно служили нашей любовной игре, пусть не похитят с губ меда, который я, трудолюбивая пчела, напрасно для тебя накопила, пусть не будут столь жадны, чтобы поглотить столько ласк, которые мы, играя, напрасно расточали, вернее сказать, которыми Эроты, играя нами, нас обольщали. Исминий, меня, вот эту Исмину, ты любовью взлелеял, как сад, обведи же меня оградой, чтобы рука путника не причинила мне вреда. Ты жаждешь умереть, но вместе с твоими словами и я

отказываюсь жить. Я умру с тобой, как жила с тобой, пока ты жил. Я обнимаю тебя, сплетаюсь с тобой в объятии и разделяю с тобою жизнь так же, как стремлюсь разделить с тобой смерть». Говоря это, она обнимала меня и, обнимая, источала из глаз ручьи слез, заливавшие всего меня.

Я: «Если, — говорю, — хочешь, уйдем из моего Еврикомида и твоего Авликомида в другой город и поменяем наши отчизны, родителей, сокровища, богатства на любовь и жизнь друг с другом. Любовь будет нам родиной, родителями, богатством, пищей, питьем и одеждой».

А Исмина, точно перенесенная в царский свадебный покой, подхватив мои слова, говорит: «Исмина — твоя, веди ее. Я умру с тобой». Она встала с постели и последовала за мной, вернее, повлекла меня за собой.

Я говорю: «Но мы еще не готовы к бегству», а она не хотела отпустить моей руки. С трудом, призвав в свидетели всех богов, я вырвался от Исмины и, вернувшись к себе в спальню, стал обдумывать наш побег. Так как заботы не давали мне уснуть, я поднялся с постели и, празднично одевшись, пришел в храм Зевса-Гостеприимца, где Фемистий, мой отец, мать Диантия и Сосфен с Панфией были заняты жертвоприношением.

После богатых жертв, которые принесли мой отец и Сосфен, Сосфен и Панфия, воздев руки к небу и проливая горячие слезы «Отец, Зевс, — сказали, — вот свадебная жертва за нашу дочь Исмину, брак которой мы вскоре собираемся отпраздновать». С этими словами они положили жертву на огонь алтаря. Тут из облаков раздался клекот орла; огромная птица шумно спустилась и схватила мясо, приведя в замешательство всех окружавших жертвенник.

Сосфен, потрясенный, стоял безмолвно, а Панфия упала на землю и, беспощадно терзая свои седины, «Зевс, отец, — закричала, — пощади эту мою седую голову, пощади юность дочери: она мое утешение, она моя отрада, она упование рода, ей я радуюсь и забываю о тягостях старости, от моей, от моей, вот этой дочери, отгони эту зловещую птицу.[13] Зевс, отец, не лишай меня глаз, не гаси моего светоча, не подсекай под корень колоса, не срезай локона всего моего рода. Злосчастная я мать, злосчастны мои жертвы, злосчастны знаменья! Счастливой родительницей я пришла из Авликомида, своей отчизны, горькая я ныне родительница в Еврикомиде. Как деве готовила я моей Исмине брачный убор, ныне стенаю над ней как над покойницей и оплакиваю живую. Ты погибла, Исмина, свет моих глаз, не венчальную, а погребальную песнь пою я тебе, не брачное, а надгробное возлияние приношу для тебя и, по пословице, вместо сокровищ нахожу уголья».[14]

Так причитала Панфия и наполнила храм плачем и стенаниями; она царапала щеки, рвала одежду, камнем ударяла себя в грудь и била по голове. А стоявшие вокруг (ведь они не от дуба или скалы рождены)[15] были растроганы ее слезами и жалобами: поднялся смешанный крик мужчин и женщин. Женщины причитали и били себя в знак печали вместе с Панфией, а мужчин охватили смятение и страх; некоторые из них счи-

тали знамение зловещим, другие, напротив, весьма благоприятным, были и такие, кто видел во всем случайность. Так у толпы и речения и суждения были то сходными, то разными.

Мать моя Диантия вместе с отцом Фемистием, подхватив Панфию против ее воли под руки, повели в дом, а я и Кратисфен (ведь и он был там) — Сосфена. Мы возвращаемся домой и застаем у ворот плачущую Исмину: какая-то служанка, придя раньше нас, все ей рассказала.

Снова поднялся похоронный плач и стенания. Ведь мать плач затянула над дочерью, словно над умирающей, дочь над плачущей матерью горько рыдала. Отец мой Фемистий и мать Диантия вводят женщин в комнаты и стараются унять их вопли.

Мы с Кратисфеном уходим в мой покой и вспоминаем обо всем, что произошло после того, как мы покинули Авликомид: как во время пира Исмину посадили напротив меня, как я взял чашу и, только приблизив к губам, отдал поднесшему мне, как сказал, что Исмине надлежит пить до меня, и Кратисфен (по приказу отца он подавал вино) принес чашу Исмине, как девушка взяла ее обеими руками, как благодарила меня кивком головы, как в следующий раз Кратисфен до меня подает чашу Исмине, как она, отпив немного, остальное возвратила, а я, притворившись, что испытываю жажду, взял из рук Кратисфена кубок; вспоминаем и другие наши любовные уловки за пиром; припоминаем, как наши родители уходили из дому для жертвоприношений, наши игры у постели Исмины, любовные клятвы, которые мы друг другу дали, слова Сосфена во время второй нашей трапезы, что он принесет жертву за брак дочери, припоминали о том, как он позвал в Авликомид на эту свадьбу моего отца и меня, наш ужас перед этими неожиданными словами и все прочее, что произошло за столом, о вторичном бдении и жертвоприношениях Сосфена и Панфии у алтаря, о том как Исмина осталась одна, о наших слезах на ее постели и, наконец, о клятвах, которые мы, призвав в свидетели самих богов, дали друг другу.

Кратисфен: «Я знаю, — воскликнул, — что это для тебя счастливое предзнаменование, а для жениха Исмины в Авликомиде — дурное. Если сам Зевс указывает на похищение и, словно велит его осуществить, зачем ты медлишь? Зачем уклоняешься?».

Я в ответ: «В беде, как говорится в трагедии, яснее познается друг.[16] Обдумай мое бегство».

Кратисфен: «Я тебе помогу», и, сказав мне «Прощай», он ушел, чтобы сделать необходимые приготовления, а я остался.

Тем временем мой отец и мать обсуждали с Сосфеном, Панфией и Исминой происшествие у алтаря.

Я услышал, как дева говорила матери: «Слова Фемистия и Диантии, матушка, должны успокоить волнение твоей души: в них не стремление убедить, но сама правда. Зачем же ты снова всецело озабочена этим и всецело убиваешь себя стенаниями? Зевс не дает согласия на мой брак и

не желает, чтобы меня отдали замуж. На это, по твоим словам, указывает знамение. О, попечение о нас и доброта Зевса! А ты хотела моего замужества, хотела, чтобы был заключен этот злосчастный брак! Зачем же, матушка, ты плачешь из-за этого благодетельного знамения Зевса?».

Отец мой Фемистий похвалил деву, сказав: «Какая ты разумная, девушка и как прекрасно говоришь!» — и обратился к Сосфену: «Если угодно, пойдем к столу. Время Диасий, почтим праздник, чтобы Зевс был к нам благосклоннее. Вкусим яств, вкусим сна — ведь близится ночь, и подходит время жертвоприношений, призывающих нас к алтарю».

Панфия говорит: «Больше я туда не пойду и не принесу щедрой жертвы орлу в поднебесье.[17] Довольно с меня жертв, довольно слез, я сыта зловещими знамениями. Если тот жестокий и злосчастный орел еще не сыт, это тот самый, который когтит бок Прометея, который выклевал его печень![18] Мое чрево он тоже безжалостно растерзал и поглотил внутренности!».

А Сосфен: «Не произноси столь дерзких и необдуманных слов, чтобы не прогневить Зевса. Послушаемся лучше Фемистия». Панфия говорит Сосфену:

«Уступчив ты, но за самонадеянность,
За смелость гнева ты не упрекай меня,[19]

ведь внутри у меня все пылает».

По прошествии долгого времени стол накрывают, наконец, в комнате на скорую руку, еда и питье простые и непраздничные. В середине трапезы снова появляется прекрасный Кратисфен и рядом с нами занимает место на блестящих камнях, которыми был украшен пол комнаты. Ужин, если его можно назвать ужином, пришел к концу. Снова мой отец Фемистий говорит Панфии: «Что ты мать и притом мать не только чадолюбивая, но и прекрасночадная — пусть будет сказано — правду я не стану отрицать, но что «Всем женам, — как говорится в трагедии, — страшны родовые муки»,[20] — подтвердят все матери. А что

Природа слова истины всегда проста[21]

знают все, и ты в том числе. В честь брака твоей дочери принесены жертвы, которые без остатка похитил Зевсов орел. Если орел — вестник злосчастья и его появление дурной знак, я плохой предсказатель. Если же тебе кажется, что это — несчастливейшая примета и она действительно такова, тем она для меня счастливее. Ведь если жертва приносится после заключения брака и Зевс не дает на него согласия и показывает это, послав орла, не напрасны слезы: Эпиметею[22] боги уделили свойство слишком поздно раскаиваться в своих поступках. Поскольку ты приносишь жертву до того, как брак совершился, чтобы узнать будущее, а Зевс-прозорливец против брака, но благосклонен к тебе, со своей дочерью ты не узнаешь горя. Чего же ты заводишь плач и стенаешь при столь благом предвестье, когда тебе надлежит Зевсу-Спасителю принести щедрую бла-

годарственную жертву за то, что он спас твою дочь от опасности? Иначе ты обвинишь в несправедливости того, кто избавил тебя от волн и огня, за то, что он даровал тебе жизнь».

Мало-помалу Панфию убедили эти слова отца, и, немного успокоившись, она согласилась лечь, с тем чтобы подняться для жертвоприношений. На этом мы разошлись.

Кратисфен, оставшись со мной вдвоем в нашем покое, говорит: «Время не терпит; Зевс вместе со мной обо всем позаботился, и тебя ждет корабль, отправляющийся в Сирию. Гость по отцу[23] живет в Сирии; он окажет нам гостеприимство и радушно нас примет».

Я отвечаю ему: «Если ты не предал нашей дружбы, любишь своего Исминия и считаешь его своим вторым „я", ты отправишься с нами».

Он говорит: «У меня никогда и мысли не было покинуть тебя, и я готов страдать с тобой и страдать за тебя.[24] Меня радует, что ты не медлишь».

Я: «Ты, если хочешь, пойди к морю и распорядись обо всем, а я, пока длятся ночные жертвоприношения и Сосфен и Панфия вместе с моими родителями у алтаря, пойду к Исмине и открою ей наш замысел. Твое дело не упустить времени отплытия и позвать нас в гавань».

Кратисфен ушел, а я, лежа на постели, чувствовал, как целые моря забот затопляют мою душу, и волны захлестывали меня, как корабль в бурю и прибой; я печалился, радовался, страшился, смелел, весь был полон наслаждения и страха. Ведь надежда на удачу наполняла мое сердце несказанной радостью, неверие в удачу потрясало страшным смятением.

Пока я боролся с этими волнами, морем и непогодой, сон смежил мне глаза; я вижу перед своей спальней неисчислимую толпу юношей и девушек с венками из роз на головах, с руками, точно цепью прикованными к рукам друг друга, поющих, подобно Сиренам.[25] Песня их славила Эрота и восхваляла Афродиту. Она была похожа на гименей и на песни, которые перед спальней поют Эроты.[26] И вот все они пели, наполняя мне душу наслаждением и любовной отрадой, и весь я словно был охвачен неистовством из-за любви. Среди этого разноголосого, блистательного и сладостного хора, среди венков, среди песен, среди любовных напевов я снова замечаю того, сидевшего на высоком троне, по-царски облаченного Эрота, ведущего за руку Исмину. При виде его я весь замер. А он говорит мне: «Исминий, вот твоя Исмина» и, вложив ее руку в мою, улетел прочь с моих глаз, увлекая за собой и сон.

КНИГА СЕДЬМАЯ

Так Эрот передал мне Исмину, и после пробуждения мне казалось, что она все еще со мной, и бог перед моими глазами. Так как пришло время жертвоприношений и снова Сосфен и Панфия вместе с моей ма-

терью и отцом Фемистием отправились в святилище, я снова у Исмины, чтобы пожертвовать себя без остатка или всю без остатка Исмину получить в жертву.

Снова я обнимаю и целую девушку, снова она целует и обнимает меня в ответ, и я говорю ей: «Эрот вручает мне тебя, а Зевс вещим знаком указывает на похищение». Она отвечает: «Ты и не повинуешься загадочным вещаниям Зевса и залог, вверенный Эротом, не желаешь сберечь. Ты видел жертвоприношение и орла, неужели же ты ждешь, чтобы Зевс стал перед тобой и своими устами сказал бы это тебе».

Я говорю Исмине: «Сейчас мне приснилось, что Эрот держал тебя за руку и вложил ее в мою правую руку».

Исмина поцеловала мне правую руку, а я ей; и снова мы обменялись любовными поцелуями.

Девушка говорит мне: «Сладки, Исминий, поцелуи, очень сладки и исполнены прелести, но жертвоприношения близятся к концу, и снова Исмина будет в Авликомиде, а ты, мой прекрасный Исминий, ты — луг отрад, ты — улей любовных радостей и владыка твоей Исмины — здесь, в этом Еврикомиде. Но, свет моих глаз, сердца одушевление и души моей покой, пусть не поднесут тебе напиток забвения ни время, ни превратности судьбы, ни (это для меня горше смерти) дева из Еврикомида». Снова она целовала меня и снова плакала.

А я, обняв ее всю и всю любовно покрыв поцелуями, сказал: «Ты знаешь Кратисфена, который вместе со мной приплыл в твой родной Авликомид. Он мой согражданин, мой родственник, мое второе „я“».

Она перебила меня: «Я ему прислуживала и смешивала для него вино».

«Он, — продолжаю я, — нанял корабль и позаботился обо всем необходимом для нашего побега, отправится вместе с нами и во всем нам поможет».

Девушка поцеловала меня в губы, говоря: «Я целую твои уста и приветствую твои слова, возвещающие мне столь радостную весть».

Снова я обращаюсь к деве: «И Зевс, и сам великий Эрот вверяют тебя этой вот моей руке. Почему же мне не снять спелых гроздьев, которые уже совсем потемнели? Почему не срезать колоса, склонившегося к земле?». Я осмелел и весь предался своему намерению — приникал к девушке, целовал, сжимал в объятьях, дерзновенно касался, делал все, что служит любви. Но я не мог склонить Исмину.

«Не убедишь, хотя б и убеждал,[1] — говорила она, — я воровски не нарушу брака, уготованного Зевсом».

Такая между нами была любовная битва и игра не на шутку.

А Кратисфен, подойдя к дверям, позвал: «Исминий!».

«Это Кратисфен!» — говорю я девушке. Мой слух был обращен к звукам его голоса, глаза и руки к деве, а внимание к Кратисфену. Мы с Исминой встали с ложа, охваченные стыдом и радостью, и, подбежав к двери, сказали Кратисфену: «Здравствуй».

«Не время, — отвечает он, — медлить. Пойдем в гавань, взойдем на корабль, покинем Еврикомид». Так он сказал и вышел, мы последовали за ним.

Придя в гавань, мы воздели руки к сверкающему небу со словами: «Зевс, отец, повинуясь тебе и твоим знамениям, мы отправляемся в этот путь. Твой сын Эрот обложил нас осадой и как свою добычу увлекает прочь от родины. Ты же, о Посейдон, пошли нашему кораблю попутный, а не встречный ветер. Не противоборствуй тихому ветру Зевса и легкому дуновению Эрота, которые счастливо привели нас сюда».

Помолившись так и взойдя на корабль, мы поплыли при попутном ветре. Ведь сначала Посейдон нежно дул нам в корму, натянул паруса, придал кораблю крылья, нес нас охотно. Мне корабль был ложем, колени Исмины постелью, и, распростершись, я так сладко спал, как, клянусь Эротом, никогда. Девушка же, прижимая губы к моим глазам и губам, тихо целовала меня: корабль стал для нас брачным покоем, ложем, постелью и спальней. Эрот, проникнув в душу и поработив ее полностью, заставляет забыть обо всем остальном и всю ее полностью приспособляет к себе.

Так проходила ночь; когда же над землей поднялось солнце и ночь миновала, Посейдон насылает встречный ветер, изо всех сил дует в нос корабля и старается захлестнуть его волнами и увлечь в пучину вместе с людьми, с грузом, с ульями Эрота, полными любовного меда (сколько бы Посейдон ни тщился наполнить их вместо сладости полынью), прекрасной Исминой и мной, Исминием. О, ужасное морское волнение, о, горчайшее кораблекрушение! Порывы ветра бросали корабль, волны перекатывались через него, и все мы еще до того, как нам погрузиться в морскую бездну, испускали дух и лишались жизни.

Дева же, крепко обхватив мою шею, обрушила на меня еще более ужасную и устрашающую бурю, лила из глаз целые моря слез и всего меня затопляла своим криком, своим объятьем, своими слезами. «Исминий, — умоляла она, — спаси свою Исмину! Жестокий ветер вырывает меня из твоих рук, безжалостный ветер гасит меня, твой любовный светильник, высокая волна хочет залить любовный огонь. Ни отец, ни мать, ни родина, ни богатства не отняли у меня твоей любви, ныне же ветер и волны похищают меня из твоих рук. Эрот записал нас в рабство друг другу, Зевс во время жертвоприношений дал знак, чтобы ты похитил меня, а жестокий и бурный Посейдон вздымает водяные горы, противоборствует знамению Зевса и волнами смывает запись о нашем любовном рабстве. Я бежала от отца, но кораблекрушения не избежала, скрылась от матери, а от тебя, Посейдон, не могла скрыться.

О, мать, теперь тебе надо плакать — девой я вырвана из твоих рук и девой сойду в Аид.[2] Это предсказал тебе орел. Корабль у меня — брачный покой, волна — могила, рев ветра — гименей,[3] а невеста — я, дева. О, небывалый брачный покой, о, горький брак, о, наше злосчастное бегство! Спа-

саясь от дыма, мы попадаем в пламя, а горящих в пламени, нас поглощает море. О, ветер судьбы, жестоко и беспощадно налетающий, губящий нас в пламени и воде!».

Так говорила девушка, глазами споря с морскими волнами, голосом — с громким ревом ветра, и, опережая потоки вод, пучину и море, затопляла всю мою душу.

Я отвечал: «Исмина, дева (ведь это имя даровало тебе божество), напрасен наш побег и все остальное, к чему мы тщетно стремились. Воистину Эрот насмеялся надо мной, и сны, которыми он меня тешил, воистину только сны и видения. Ведь полные кратеры[4] огня, которые он заставил пылать в самом моем сердце, морские волны грозят потушить. Но даже если извергну целые моря воды, мне не загасить пламени, которое Эрот возжег в моей душе, воспользовавшись, словно хворостом, Исминой. Я сплетусь, дева, с тобой, в объятии, вместе с тобой меня увенчает пена волн — я уготовил тебе брачный покой под водой. Быть может, Посейдон сжалится, увидев, как мы обнимаем друг друга. Истинно этот корабль — ладья смерти, доставляющая в Аид мертвецов,[5] истинно — покой Амфитриты[6] и брачный терем Персефоны,[7] истинно — пресловутая Сирена».[8]

Девушка говорит мне: «Материнское проклятие воздвигает против меня эту бурю, материнские руки, воздеваемые к небу, толкают нас в пучину и топят на ее дне. О, слова матери, ввергающие нас в бездну моря, о, ее руки, поднимающие все эти волны, о, кипение ее души, цепенящее наши души. Ведь мы уже, как говорит поэт, вкушаем леденящий холод Аида.[9] Но, мать, утишь свои пени, чтобы Посейдон утишил непогоду, опусти руки, чтобы мы спаслись, пощади наши жизни, уйми плач, чтобы защитить нас от бури, волн, морского волнения и пучины».

А обращаясь ко мне, Исмина говорит: «Вот сбываются мои клятвы — я умру с тобой, и в этом мое утешение. С тобой и жизнь мне вожделенна и смерть не презренна. Так мы умираем еще до смерти, души наши спускаются в подземное царство и отлетают от нас, девственные, свободные из-за своей добродетели, рабы из-за своей любви, вместилища любовных страстей».

Тут кормчий говорит: «Сотоварищи по плаванию, разделяющие со мною опасность и смерть, ветер свирепствует, один за другим катятся валы и вздымаются до самых облаков; парус разорван, корабль залит волнами, у меня не достает уже сил противостоять потокам морских вод, свирепству бури и встречным ветрам. Довольно сражаться с морем, ведь против нас Посейдон. Почему мы, как того требует обычай моряков (обычай этот — жеребьевка), не совершаем молитвенных возлияний и жребием не определяем жертву?».

Так говорил кормчий и, говоря, плакал, а наш удел — бедой врачевать беду. Смертельный жребий выпал Исмине; тут же не виданный дотоле огонь, жрец и алтарь; огонь это — море, волна — жертвенник, прекрасный кормчий, послушный морскому обычаю, — жрец, а жертва (о, мое

сердце, не разорвись от печали!) — дева Исмина, обняв которую и прильнув к ней, я, злосчастный, укрылся на самом дне корабля.

А Кратисфен молит моряков, «Сжальтесь, — говоря, — над красотой и молодостью девы». Но, по словам трагедии,

Сильней огня морское своевластие [10]

едва не ввергло Кратисфена в море, а Исмину не вырвало из моих рук.

Кормчий, мудрствуя по поводу чужих несчастий, изрек: «Хрисеиду тоже отторгли от царя Агамемнона, но это гнев Аполлона смирило и войско от мора освободило.[11] Давайте же принесем девушку в жертву нашему богу, бросим ее в море, себя же избавим от горя».

Так, сидя на возвышении, разглагольствовал всезнающий кормчий, но не мог вырвать деву из моих рук. «С ним или на нем!» — воскликнул я, как говорят лаконцы, подразумевая свой щит.[12]

Наш корабль был воплощением войны и бурных распрей. Морское волнение увлекало его в пучину и тянуло на дно, а моряки влекли девушку из глубины корабельного чрева и из моих рук. Подобно руке Абрадата,[13] мои руки тянулись к любимой, так что те, кто влек Исмину, влекли вслед за ней и меня, и я молил тоже предать меня пучине и тоже принести в жертву волнам. Сострадавшие мне соглашались на это, вернее, более сострадали мне те, кто не соглашался.

Наш премудрый кормчий снова стал философствовать и разглагольствовать. «Посейдон, — говорил он, — требует девушки, и на нее пал жребий; она — жертва и искупление наших жизней. Возьмите девушку из его рук, вырвите из объятий, предайте морской пучине и волнам».

И вот деву отторгли от меня, сняли с нее хитон и обнаженной передали в руки кормчего; этот премудрый кормчий и жрец, приносящий неслыханные жертвы, взял девушку, морские волны глазами объял:

«Вот тебе, владыка Посейдон, жертва и искупление», — сказал (только бы ты, моя душа, не вырвалась за ограду зубов) [14] и бросает девушку в воду.

А я крики, оглушающие уши и самое мою душу, бросил ей вслед и готов был своими слезами затопить весь корабль, «Исмина, — взывая, — Исмина».

Исмина словно выпила морскую бездну и осушила все море, подобно отливу, поглотив все ветры, даровала морю после бурного волнения безветрие и тишь.[15] Мою же душу она всю привела в смятение и всю потрясла. А моряки и кормчий словно встречали сладостный приход весны и пили кубок наслаждения после таких ужасов, бури, непогоды и бушевания волн.

Испив чашу горечи и целые моря полыни, я сполна возвратил их устами и очами, заливая корабль, возбуждая новое волнение и новую бурю. Кормчий, не в силах терпеть моих стенаний и считая погребальный плач дурной приметой, ведет корабль к берегу и покидает меня там.

Сидя на прибрежном песке, я горько оплакивал постигшую меня беду и так совершал надгробное возлияние над девушкой: «Исмина, — говоря, — Исмина, свет, покинувший мои глаза, птица, вырвавшаяся из моих рук (о, злосчастное кораблекрушение, о, достойное слез морское волнение, о, тишь, еще горшая для меня, чем буря), ты похищена у меня непогодой и прибоем волн, а мою душу ты погрузила в пучину, затопив ее морем стенаний. Свою душу ты выдохнула девственной и погибла, увенчанная морской водой; мою голову и душу жалостно увенчали страдания, вопли и слезы. Брачный покой и могила тебе — море, спальничий — я. Я не буду петь тебе свадебную песнь, не буду в лад брачной песне хлопать в ладоши, но на прибрежном песке, как над кенотафием,[16] сплету тебе горькие могильные напевы и, скликав целый хор нереид,[17] буду жаловаться на свое несчастье.

О, свирепость морских валов, горечью напитавшая мои чувства, о, буря, захлестнувшая морскими пенами мой брачный покой и невесту, о, мое злосчастье, о, противный ветер нашей судьбы, о, колчан, который Эрот опустошил, метя в мое сердце. Увы, любовное пламя, полные кратеры[18] которого Эрот зажег в моем сердце. О, царь Эрот, могущественнейший из всех богов, владыка над душами, мечущий стрелы и увлекающий вместе со взорами сердца, палящий внутренность и в пепел сжигающий души! О, повелитель сновидений, если не всех, то по крайней мере обманных, этот бурный Посейдон изобличает тебя!

Ты предстал предо мной вооруженным, и вот я пронзен стрелами, огненосным — вот у меня горит душа, ты предстал крылатым — я не избегнул и твоих крыльев. Но тебе уже пора воспользоваться своей наготой в противоборстве с Амфитритой[19] и самим Посейдоном. Ведь они, царь, похитили сокровище, которое ты мне доверил, твою Исмину, чью руку ты вложил в мою, они унесли мое богатство. Оставь огонь и стрелы, сложи крылья. Если тебе не угодно, тогда во всеоружии всего этого погрузись в пучину и выведи со дна морского Исмину, одно имя которой заставляет гореть мою внутренность и воспламеняет мне душу.

О, представшие мне во сне услады, о лобзания, легкие касания, объятий сплетения и переплетения и прочие любви измышления! Горе снам, поработившим меня. Все они воистину только посмеялись надо мной.

О, Зевс, прозорливейший из богов, воистину твое зловещее знамение нелживо указало мне на будущее — ведь дева Исмина насильно вырвана из этих жалких рук. Но я не соблюл своих обетов: ведь я клялся богами умереть с тобой, Исмина, и разделить с тобой смерть. Ныне же тебя скрывает мрак, а до того волны жалостно поглотили тебя, а я гляжу на свет, и волны бегут мимо меня. Тебя вручили Аиду,[20] меня земле, твои губы, этот полный меда улей, сомкнуты, мои, разверстые страданием, кричат тебе о смерти и, словно ужаленные пчелой, горят от боли. Ты, быть может, будешь корить меня за то, что я забыл тебя, я же, точно души наши слились воедино, выдохну память о тебе вместе с жизнью,

вернее донесу ее до подземного царства и до самой реки забвения,[21] рыдая горько, жалостно и безутешно».

Так я стенал; слезы лились у меня из глаз и, подобно морю, кипели, волновались и заливали меня.

Посреди всего этого сон незаметно спускается на мои глаза и всецело завладевает мной. И снова ночью я вижу во сне Эрота; Эрот был тот, что нарисован в Авликомиде; он говорит мне: «Радуйся, Исминий».

Я ему: «Но я терплю ужасные муки; ведь сокровище, которое ты вручил мне, твою Исмину и мою деву, этот бурный Посейдон беспощадно похищает из моих жалких рук, взбунтовав все море, подняв все волны. О, владыка Эрот, я видел, что весь род Амфитриты значится у тебя в рабстве и трепещет перед твоей наготой. Спаси же, владыка, из пучины и моря Исмину, деву столь прекрасную, столь юную, столь дышащую любовью, верную твою рабыню, отдавшую и меня, ее любящего, тебе в рабство. Пронзенные твоими стрелами, владыка, мы оба покинули свою отчизну. С внутренностью, горящей твоим огнем, мы не однажды целые ночи бессонно томились;[22] уповая на твое могущество, владыка, мы начали плавание и презрели опасности открытого моря. О, могущество твое или мое злосчастие! Посейдон приводит в волнение все валы, изливает на море весь свой гнев, жаждет весь корабль захлестнуть волнами и Исмину (сжалься над нею, владыка Эрот!) беспощадной рукой (увы!) вырывает из моих злосчастных рук. Но, Эрот, повелевающий всем. . .».

Тут бог взмахнул окрыленными ногами и, прилетев на самую середину моря, погружается в волны, на дно пучины и вскоре вновь стоит передо мной, держа за руку Исмину, с которой еще струится вода словно ее омыли Хариты,[23] и вручает девушку мне. А я, обретя Исмину, пробудился от счастья. Но все это снова были только покорные Эроту сны.

КНИГА ВОСЬМАЯ

В такой радости и блаженстве я проснулся и, напрягая зрение, старался увидеть Исмину, но ее нигде не было. Вместо нее я замечаю на берегу толпу, несчетную толпу эфиопов, диких людей, взглянув на которых, клянусь морем обрушившихся на меня бед, я тут же вскочил на ноги, надеясь, что продолжаю грезить. Но все было явью — они видят меня и, схватив за волосы, с варварской беспощадностью, словно пойманного на охоте зверя, влекут на триеру (она у них стояла на суше, укрепленная на кольях и канатах) и, бросив в трюм, сажают за весло.[1] Затем сталкивают триеру в воду, подобрав все канаты, и корабль веслами окрыляют, множество которых — гордость триер. Достигнув защищенной от ветров и удобной гавани, эфиопы становятся там на якорь, немного подкрепляются пищей и питьем (т. е. хлебом и водой, которые

у них были) и ложатся спать, на носу и корме расставив на это время караульных.

Около третьей стражи ночи[2] они встают ото сна, снова окрыляют корабль веслами и выходят из гавани. Приблизившись к какому-то городку и в молчании пристав к берегу, они берут в левую руку щит, правой привычным движением обнажают мечи и, полностью вооруженные, со всех сторон, словно пчелы соты, окружают городок. С варварскими невнятными выкриками вооруженные бросаются на безоружных, бодрствующие на спящих, наносят раны, как дикие звери тащат добычу, разоряют городок и похищают все на своем пути, а заодно и женщин, заодно дев, юношей, мужей, всех, кого варварский меч не обрек Аиду. Когда пираты снесли награбленное добро на триеру и заняли свои места, она поспешно покинула гавань.

В открытом море пираты укрепляют корабль веревками, словно на надежном причале, и начинают делить добычу. Со всех захваченных в плен мужчин, со всех юношей, со всех девушек и женщин эфиопы срывают хитоны, и все они стоят ничем до самого срама не прикрытые и совершенно обнаженные. Корабельный трюм ожидал юношей и мужчин, женщин позор и разнузданность варваров, на девушек же, не знаю отчего, может быть, по какому-нибудь варварскому обычаю, кто-то набросил рваную одежду, их не коснулась своевольная рука и они избегли варварского посрамления.

Так подло обойдясь с женщинами и учинив множество других мерзостей, пираты начали пировать. Стол у них был богатый, а не такой варварский и жалкий, как недавно. Мужчинам, как сказано, был отведен трюм, девушкам — нос корабля, женщины же позорно возлегли вместе с варварами за пиршественные столы. После богатых, как уже говорилось, кушаний и гнусного, подлинно кровавого пиршества они сажают юношей (их было немного) за весла: все, кто был старше этого возраста (о жестокосердие варваров), стали жертвой мечей, а головы их эфиопы бросили в море; женщины постыдно возлежали рядом с пиратами. Триера была приютом бесстыдства и местом кровавого пиршества. Так прошла ночь.

Когда же мрак рассеялся (ведь над землей встало солнце) и желанный свет улыбнулся нам — то был свет дня — варвары поднялись со своего брачного ложа; все они были опьянены наслаждением и что-то забормотали на своем языке, точно разговаривая друг с другом. Вслед за шумом, который обычно поднимают моряки, особенно если они варвары, какая-то чуждая и невнятная песня послужила знаком, чтобы украсить корабль белым парусом. Ветер, налетев с кормы, надул его, и триера уподобилась коню, бьющему копытами по земле.

Опуская подробности, как бесчинствовали пираты, как бесстыдно обходились с женщинами, и все остальные непристойные и варварские их поступки, скажу, что при благоприятном ветре мы приблизились к Арти-

комиду[3] и видим на берегу толпы людей из этого города. После ведомых варварам возлияний, которые устанавливают мирные отношения между пиратами и жителями материка, триера принимает нескольких заложников, а берег — добычу, которую пираты захватили в городке. Тут же, прямо на берегу, начинается торг. Серебро, золото, медь, железо, одежды и прочее, что награбила варварская рука, выгружается на землю и продается, а нас, захваченных в плен людей, не высаживают на берег, но продают на самом корабле. Спрос на женщин и юношей у жителей Артикомида — небольшой, вернее его совсем нет; все стремятся купить девушек. Варвары за них высокую цену назначают, но многие жители Артикомида девушек покупают, правда после испытания метким луком и источником Артемиды, которым Артикомид гордится, как кельты рекой Рейном.[4] Есть ведь в Артикомиде знаменитое святилище Артемиды, в середине которого стоит золотой кумир богини; руками богиня натягивает лук, а у ее ног ключом бьют источники, текущие, подобно шумной многоводной реке. Взглянув, ты бы сказал, что слышишь, как бурлит вода. Все это — лук и источник — обнаруживают девственность или же — ее утрату. Ведь когда кто сомневается в девственности девушки и добивается доказательства, девушку, увенчанную лавровым венком, бросают в источник. Если брошенная в воду не лишилась девственности и не потеряла чистоты, Артемида не натягивает лука, воды источника спокойны и бережно несут деву, а лавровый венок украшает ее голову. Если же дыхание Афродиты погасило в ней светильник целомудренности и Эрот тайно похитил ее девственность, Артемида, девственная богиня, натягивает лук, угрожая потерявшей девственность, обманувшей ее и, кажется, целится прямо в голову. Девушка боится стрелы, прячет голову в воде, а вода начинает бурлить и срывает венок. И вот все захваченные в плен девушки увенчаны лавром и брошены в источник; те, кто не скрыл головы в воде и не потерял своего венка, были проданы за большие деньги, а утративших девственность вернули на триеру и присоединили к женщинам: они променяли золото на медь, лавровый венок девственниц на ложе варвара.

Такие события случились в Артикомиде, и так с корабля выгрузили добычу. Снова триеру окрыляют привычным способом, снова варвары отплывают прочь и нас, из свободных превратившихся в их рабов, увозят с собой.

На третий день триера входит в какую-то другую гавань; когда мы вытащили ее на песок и прочно укрепили канатами, варвары толпой высыпали на берег, захватив с собой женщин, разбили шатер у самой воды и устроили роскошное пиршество. После обильных яств, вина, каких-то варварских забав и прочего варварского непотребства с женщинами они вместе со своими наложницами повалились спать, душу всецело утопив в наслаждении, любовью себя всецело опьянив. Вот, что было с ними.

Мы же (ведь варвары лежали пьяными), отважившись выйти из трюма, мучались сомнениями, оставить ли нам триеру и сойти на берег,

бежать ли из плена на самой этой триере или, как подобает эллинам, вооружившись оружием, которое в изобилии было на корабле, напасть на варваров и победить либо пасть в битве.

Пока нас мучили сомнения, тяжело вооруженное войско с суши нападает на варваров, всецело охваченных сном, всецело обезумевших от вина и любви. Оно захватило в плен всех варваров, а нам пришлось сменить рабство у варваров на рабство у эллинов; из рабов мы вновь становимся рабами, сорабами своих недавних господ и, вместе с господами лишившись свободы, становимся рабами говорящих с нами на одном и том же языке эллинов.

Вот уже посреди площади, посреди Дафниполя,[5] города, посвященного Аполлону, предводитель и его войско в честь победы над нами поют эпиникии,[6] и город рукоплещет и громко ликует. Всех нас, их добычу, их пленников, жалко влекут к храму Аполлона, составляющему славу города Дафниполя. Тотчас все жители собрались у алтаря.

Я обнял ноги кумира и, обливаясь слезами, «Утишь, Аполлон, — сказал, — бурю, сострадая, развей благим ветром мои беды. Вестником твоего отца Зевса я пришел в Авликомид из Еврикомида, увенчав вот эту свою злосчастную голову ветвями вот этого твоего дерева, лавра.[7] Но Эрот, твой брат,[8] вместо лаврового надел на нее венок из роз.[9] Он похитил мою девственность, вернее преобразил ее любовью, вверив деву Исмину моим злосчастным рукам; Посейдон вырвал ее девственной из вот этих моих злосчастных рук и из самого сердца, ополчив на меня все ветры, все море и все волны. Утишь бурю и возврати мне Исмину или меня соедини с ней. Из свободного я стал рабом и троекратно из вестника рабом: в первый раз меня поработил Эрот, во второй раз — варвары, а в третий — эллины из этого твоего Дафниполя».

Так я говорил, пока меня вместе с остальными пленниками вели к лавровому дереву и треножнику. Здесь оракул и жребий снова накладывают на меня рабские оковы, и снова я раб и трижды раб. Мой господин, которому я достался по оракулу и жребию, уводит меня домой, а госпожа говорит:

Кто ты, откуда, из края какого и кто твой родитель.[10]

Я отвечаю: «Твой раб, госпожа. Стремясь узнать больше, ты стремишься к настоящей драме, к настоящей трагедии. Я — пример своеволия Тихи,[11] я — тень из подземного царства, игралище богов, трапеза Эринний».[12] Говоря это, я опустил глаза к земле и всю ее заливал слезами.

Госпожа в ответ: «Рассказывай обо всем, ничего не тая». Голос у меня пропал, язык отказался слушаться, и из глаз рекой потекли слезы.

Тогда господин (ведь и он был здесь) «Пора завтракать, — говорит, — возляжем; за столом к месту будут рассказы этого раба».

И вот приносят стол, мои господа занимают места на ложах, а я, как подобает рабу, стою рядом.

Госпожа снова обращается ко мне: «Вот теперь пора тебе год за годом нарисовать нам свою жизнь».

А я при одном воспоминании о своих бедах жалостно из глубины души вздохнул, горько заплакал: «Не воскрешайте, — говорю, — господа, мои злосчастья, чтобы трапеза ваша не омрачилась стоном, и я не подал вам полной чаши печали». Говоря так, я не убедил их, и, не будучи в силах убедить, —

Увы, увы рабом быть — доля горькая.
Терпи недолжное, насилью уступай [13]

произнес: «Отечество мое — город Еврикомид, отец — Фемистий и мать Диантия. Богаты ли они и в числе ли первых людей в Еврикомиде, не мне говорить. В городе — пора Диасий, праздника, пышно у нас справляемого. Лавром увенчанный, хитоном украшенный, в священной обуви, всеми знаками вестнического достоинства отмеченный, вестником Диасий я пришел в Авликомид. Но Эрот похищает мой венок, приманив меня в силки Исминой, прекрасной девой, дочерью Сосфена, одного из первых людей в Авликомиде. И вот я вернулся в мой Еврикомид рабом Афродиты в сопровождении этой девушки и ее отца. Что же было потом? Сосфен, отец Исмины, за столом, во время пышного пиршества объявляет о браке Исмины с другим; счастливо спасшись от него бегством, мы злосчастно были пленены, попав из дыма в огонь, из дождя в море. Корабль — пособник нашего бегства; Посейдон преследует его противным ветром, желает жертвы; мы мечем жребий, жребий выпадает Исмине. Жалко вырвав ее из моих рук, девушку бросают в море; это избавляет моряков от бури, а меня ввергает в пучину стенаний и слез. Не в силах более терпеть, моряки покидают меня на каком-то берегу, и варвары, ныне такие же пленники, как я, берут меня в плен. Затем, снова пленником попав в твои руки, я становлюсь из раба рабом и трижды рабом из вестника».

Так я говорил и обливался слезами.

Моя гопожа в ответ: «Твоя жизь подлинно драма, поистине трагедия. Зато тебе посчастливилось, что мы твои хозяева».

«В том-то мое несчастье, что есть надо мной господа», — ответил я своей госпоже и прибавил:

Кто не привык вкушать всегда злосчастия,
Тому, хоть сносит их, все больно от ярма.[14]

Господин говорит: «Пусть твоя отчизна знаменита, род славен и дома много богатств, теперь ты лишился всего. Ведь ты — раб и принадлежишь нам. Раз ты сменил стыдливость и девственность на бесстыдство и любовь, а венок целомудренного лавра на любовный венок из роз, себя за это и вини. Запасись разумом, полюби умеренность, чтобы скромность тебе не пришлось постигнуть на опыте, и рука господина не стала твоим наставником».

Таковы были слова моего господина.

Я молчал и уперся в землю глазами, полными слез. На этом завтрак кончился.

Я, Исминий, вестник Диасий, увенчанный лавром, прежде торжественно приплывший из Еврикомида, как царь, проехавший на колеснице по Авликомиду, пышно возлежавший за богатым столом Сосфена, теперь вместе с толпой своих товарищей по рабству занимаю место за столом рабов, несу рабскую службу, полностью раб, полностью в рабстве, полностью прикидываюсь рабом, полностью, о Зевс и прочие боги, расстался со своим вестническим достоинством и полностью со свободой. Такова была моя участь, и так я служил в доме своих господ. Но даже в этих страшных бедах я не забыл моей возлюбленной, девы Исмины, не забыл, клянусь неумолимым Эротом, источником всех моих злосчастий!

Наступило время Диасий. И хотя в Дафниполе Диасии не соблюдают и этот праздник не празднуют, я вспомнил о них и поднял плач. Но судьба и тут позавидовала мне.[15] Я стенал, но старался скрыть стенания, плакал, но таил глаза от господ: ведь у меня были душа, голос, слова и слезы. Вестник, а ныне жалкий раб, я представлял в своем воображении Еврикомид, Авликомид, свое вестничество, сад Сосфена, водоем в саду, птиц его украшающих, позлащенного орла, смешивающую вино Исмину, то, как она со мной любовно заигрывала, играла, приникая к моим стопам, играла кубками, представлял прочие (увы, любовные радости рассеялись, как сон), рожденные любовью игры. В конце концов «Исмина, моя любимая», — я чуть слышно прошептал.

Тут нежданно появляется госпожа и говорит мне: «Зачем ты так обливаешься слезами? Вот она перед тобой: я, твоя владычица и рабыня любви, буду тебе Исминой». Ничего не ответив, я тотчас убежал, так как дорожил любовью одной лишь Исмины и одну ее отражал в себе, как в зеркале.

Как госпожа пыталась заигрывать со мной, как упорно осаждала, как на меня господину клеветала, как грозила мне рукой, словами, кивками, это я боюсь передать, чтобы Эрот невзначай не развратил моей души или самого моего языка; его я буду блюсти для девы Исмины — пусть он будет исполнен любовных прелестей и меда Афродиты, которым мы досыта насладились лишь на словах.

Настает праздник, пышно справляемый в городе Дафниполе; прославляется бегство Дафны и природа дерева, соименного деве,[16] но по преимуществу это праздник и торжество Аполлона. Ведь Дафна — дева и притом дева прекрасная. Аполлон ее любит, а дева страшится объятий бога, отвергает его любовь и молит о помощи Гею.[17] Гея сострадает девушке, прячет беглянку, девственность сохраняет и взамен соименное деве дерево дарует богу, Аполлон венчает себя лавром и так избавляется от любви; подле дерева жертвенник и соименный дереву город. Жертвенник — Аполлона, а город — Дафниполь.

Так все было. Праздник — города Дафниполя, и вестники избираются по оракулу.

Аполлон вещает и делает своим вестником моего господина, блестящим вестником в Артикомид. Тот увенчивает голову лавровым венком, в пышном шествии проходит по площади, празднует свое торжество в театре. Вокруг вестника толпа, великолепные и почетные проводы, — все, что когда-то в насмешку даровало мне вестничество. Вспомнив об этом в блистательном театре в день блистательного торжества, полного прелести и наслаждения, я исполнился плача и стенаний, и память, словно молния, поражала мою душу частыми ударами.

Так вот, столь блистательно, столь пышно и торжественно вестник, он же и господин мой, был провожаем домой; лавровый венок его венчает, хитон блестящий украшает, священные сандалии на ногах топчут прах. После этого блистательного шествия, в каком и я некогда (увы, вот какова моя судьба!) прошел через Еврикомид, вестник с моей госпожой ложатся за блистательный пиршественный стол; на его голове лавровый венок, и он вестник с головы до ног.

В середине пиршества госпожа говорит: «Вестник, твою голову Аполлон блистательно увенчал, послав тебя в Артикомид блистательным вестником блистательного своего праздника. Пусть Аполлон дарует тебе и счастливый путь! А этого нашего раба, которого добыли тебе меч и отважная рука, не бери с собой в Артикомид: ума у него, мне кажется, хватает, не глупы и его слова, но он постоянно насуплен, постоянно стенает и бьет себя в грудь. Я опасаюсь, как бы он не сделал тебе чего худого: ведь раб — враг своим хозяевам». Господин в ответ: «Но если вспомнить трагедию,

Рабам усердным и несчастья их господ
Бедой бывают».[18]

Хозяйка говорит: «Но в трагедии сказано „рабам усердным“. А он хвастливым рассказом о своем вестничестве себя величает, род и отчизну свою прославляет и много великолепия себе прибавляет».

Тут господин обращается ко мне: «Если, как говоришь, ты был вестником, то, подобно мне, был увенчан лавром».

Я в ответ: «Вестник и господин, не гневайся на мой язык за опрометчивые и нескромные слова. Поистине, и ноги мои были украшены, и я был одет в хитон до пят, еще более блистательный, чем твой, потому что был вестником Зевса, отца и людей, и бессмертных![19] Не сердись на меня, господин».

Он говорит моей госпоже: «Может быть, будучи свободным, он действительно был когда-нибудь вестником, но рука варвара обратила его в рабство:

Дела людей — Случайность неразумная.[20]

Если он отправится со мной в Артикомид, это, быть может, окажется полезным». С такими словами он встал из-за стола, чтобы приступить

к своим обязанностям вестника. Снова весь город поднялся, снова блистательные проводы, снова всеобщее торжество, снова песни и все, чем подобает воздавать почет вестникам.

КНИГА ДЕВЯТАЯ

Вот как, стало быть, вот как блистательно нас провожали в Артикомид. Вестник пришел в Артикомид, и снова блистательная встреча, снова толпа, ликование, украшенные улицы, убранные площади, увенчанные девы. Артикомид процветает особенно потому, что чтит девственность и украшен алтарем Артемиды-девственницы.[1] Гром кимвалов чарует слух, красота портиков услаждает глаза, аромат роз и дым всяческих благовоний радуют обоняние, множество блистательных риторов произносят приветственные речи. Мой же хозяин, окруженный всей этой блистательной толпой, окруженный всяческим почетом и превознесенный, как сам Аполлон, шагает широко,[2] точно вознесен в заоблачные выси, подняв брови до самого неба.[3]

А меня воспоминание заставило спуститься в самую бездну Аида и наполнило глаза слезами, струящимися в самую глубину души. Первые люди Артикомида стараются залучить вестника, каждый увлекает за собой и влечет к себе: небывалое соперничество и соревнование в гостеприимстве. Глядя на это, можно было бы сказать:

Смертным благо — споры такие.[4]

Сострат оказывается победителем, увозит вестника на своей колеснице, отвозит домой и принимает его с великой щедростью, подобно тому как Сосфен (не было только Исмины) пышно принял меня, Исминия.

Все это прожгло самую мою душу, и я жаждал выпить чашу забвения.

Вестник снимает свое одеяние, ставится богато накрытый стол, и дева Родопа, дочь Сострата, разливает вино; хотя она и хороша, как всякая дева, но в сравнении с моей Исминой все равно, что обезьяна рядом с Афродитой. На столе разнообразные яства, какими и Сосфен угощал вестников.

Тут у меня вдруг дергаться стал правый глаз;[5] это для меня было хорошей приметой и благим предвестием. Также ли вкусно вино из Артикомида, как авликомидское, свидетели боги, не знаю, — у Сострата ведь в отличие от Сосфена не было такого виночерпия, как Исмина, и этим он уступал Сосфену, а мое вестничество было тем почетнее вестничества моего господина, чем менее оказалось счастливым.

После яств и щедрых роскошеств пира Родопа смешивает праздничный кратер.[6] Вестник и мой, по воле случая, хозяин, блистательно возлежа за столь богатым столом, пил, как мне кажется, с удовольствием, а я, некогда вестник, возлежавший за блистательной трапезой, с щедростью принятый Сосфеном, кому подавала вино Исмина, только взглянуть на которую

счастье, несу рабскую службу и всецело раб. Не окончись пиршество, я бы, пожалуй, не выдержал. Но вестник поднялся изо стола, удалился в свой покой и лег на такое же блистательное и мягкое ложе, какое некогда предназначал для меня Сосфен.

Дочь Сострата, как моя Исмина, пришла омыть вестнику ноги; за ней следовали три рабыни, помогая девушке в ее службе. Вот Родопа приступает к омовению, а я, вспомнив о том, как это было со мной, какие знаки приязни посылали уста и руки моей Исмины, из самых глубин своей души исторг громкий и печальный вздох, и глаза мои наполнились слезами.

Тут служанка, державшая пелену для вытирания ног, негромко застонала, точно подражая вторящему чужим голосам эху, как едва слышно застонала Исмина, когда моя нога коснулась ее ноги за столом у Сосфена. Я пристально посмотрел на девушку, и, клянусь Исминой, мне почудилось, что я вижу Исмину. Она еще пристальнее посмотрела на меня.

Когда дочь Сострата окончила омовение и, сопровождаемая служанками, ушла, вместе с ней ушла и та, кого я принял за Исмину. Всю ночь мной владели раздумья: «впрямь ли это была Исмина? — говорил я себе. Но ведь исторгнутая из этих моих рук, она была брошена в море на моих собственных злосчастных глазах рукой злодея кормчего. Может быть, Зевс или Эрот спасли ее, и девушка теперь в Авликомиде? Неужели могли они даровать ей жизнь для злосчастия и рабства?». В мыслях я всю ее представлял себе, всю ночь провел в раздумьях и встал с постели — сон не коснулся даже моих ресниц.

Однако наступивший день прибавил к моим ночным терзаниям еще горшие: беды у меня сменяли одна другую. Снова я, Исминий, страдаю от рабской доли, снова несу рабскую службу, всецело раб и трижды раб: по воле Эрота — раб Исмины, раб дум, которые шли мне на ум оттого, что я увидел, и по воле случая раб вестника. Снова пышная трапеза, снова вестник возлежит рядом с Состратом, снова Родопа смешивает вино, снова память идет походом на мою душу, всю ее обкладывает осадой, ведет в Авликомид, увлекает к Исмине и рисует дни моего вестничества.

А за столом рабыня опять помогает своей госпоже, опять я гляжу на рабыню и опять мне кажется, что передо мной Исмина; рабыня еще пристальнее глядит на меня, и ее глаза наполняются слезами. Я, покинув свое место за столом, сел под раскидистый лавр (Сострат ведь устроил пиршество недалеко от сада), заплакал, глубоко вздохнул и «Смилуйся, Зевс, надо мной, — жалостно молвил, — положи предел моим долгим странствиям, утишь обрушивающуюся на меня страшную бурю. Вот снова демоны[7] смущают меня — лепят перед моим взором Исмину, любовно украшают, ставят передо мной, терзая равно мое зрение и суждение».

Так я сказал; тут ко мне подходит какая-то рабыня и говорит: «Это письмо тебе от девы Исмины, твоей возлюбленной, ныне такой же, как я, рабыни, и, вручив, бегом бежит прочь. Взяв письмо, я, дрожа, раскрыл его.

Написано было следующее: «Дева Исмина своему возлюбленному Исминию шлет привет. Исминий, сын Фемистия, знай, что твою Исмину дельфин спас из волн морских, а источник и лук Артемиды, девственной богини, сохранили для тебя девой. Не предавай забвению ни любовных радостей, испытанных в Авликомиде, моем отчем городе, ни тех, что вкусил в Еврикомиде, твоем городе, ни того, что из-за тебя я пожертвовала родиной, родителями, всеми накопленными в доме богатствами, не устрашилась моря и волн, из-за тебя вкусила горькой смерти, из-за тебя, наконец, стала пленницей и ныне, как видишь, рабыней, но, вопреки всему, сохранила свою девственность. Теперь мне, такой же рабыне, как ты раб, предстоит разделить с тобой плавание в Дафниполь. Будь здоров. Блюди свои обещания и целомудренно оставайся и ты девственным».

Таково было содержание письма; веря, что письмо написано Исминой, я не допускал возможности таких происшествий, а желая верить в действительность происшествий, не допускал, что оно написано Исминой. Записка старалась уверить меня, что рабыня — Исмина и что это ее письмо; она ведь рисовала все, что с нами произошло. Однако невероятность случившегося с Исминой чуда не позволяла мне верить написанному. И вот, дважды и трижды прочитав письмо и все его покрыв поцелуями, я покинул свое место под лавровым деревом и, вернувшись к столу, стал неотрывно смотреть на рабыню, выдававшую себя за Исмину, и с головы до пят оглядывать ее. Она же глядела на меня полными слез глазами. Так пиршество закончилось. Вестник, мой господин, в сопровождении нас, своих рабов, направился к себе. Исмина как рабыня Родопы последовала за ней — так мы расстались. И снова бесконечные раздумья стали раздирать мою душу, снова, раскрыв письмо, я, наподобие лаконского пса,[8] доискиваюсь его смысла и снова бегу по следу всего послания. Вестник и мой господин лег на богатое и мягко постланное ложе, вестник во всем, вплоть до того, как его устраивают на ночь, и отдал дань сну; я вместе со своими товарищами по рабству, как полагается рабам, растянулся на земле. Раздумья не давали мне уснуть, и ночь превратилась для меня в день из-за бессонного бодрствования.

На утро вестник с головы до пят облекся в свое одеяние и вестником с головы до пят отправился в святилище Артемиды. Я остался дома и, сев у ворот, раскрыл письмо, впился в него глазами и облил слезами.

Дочь Сострата Родопа в это время прогуливалась по саду (сад ведь был перед воротами, у которых я расположился) и, заметив, что я горько плачу, словно из сострадания «Что с тобой случилось, дитя?» — говорит.

«Только то, госпожа, — ответил я, — что из свободного я стал рабом; думая о своей участи, я неутешно горюю».

Тут она стала расспрашивать о моем роде и отечестве и о том, как я стал из свободного рабом.

Я сказал: «Слезы, госпожа, опережают мои слова, захлестывают мой язык, наводняют душу и отнимают голос. Если ты хочешь видеть бедствен-

ную участь, вот я перед тобой, ее подлинное воплощение; весь окутанный несчастьем, весь искаженный своей страшной судьбой, я стал памятником злосчастия».

А Родопе хотелось больше узнать обо мне, и она словно умоляла меня рассказывать.

Я продолжал: «Еврикомид — мое отечество, отец Фемистий, мать Диантия, люди во всем процветающие, кроме своего сына, которого Эрот, Тиха[9] и Посейдон сделали из счастливого несчастным, рабом из свободного, трижды рабом из вестника. Было время Диасий, и я отправляюсь вестником и не в какой-нибудь город, а в Авликомид. Не стоит рассказывать, как божество насмеялось надо мной, уготовив мне блистательные проводы и необыкновенные почести. Вестником я прихожу в Авликомид. Сосфен, первый человек в городе, оказывает мне гостеприимство. У него была дочь дева, питомица Харит, приворотный пояс Афродиты,[10] воплощенная любовная приманка, крепкая ловушка Эрота. С этою-то вот, с этой дочерью Сосфена я влюбленно сблизился, но мы не осквернили девственности. Отец объявляет о браке дочери с другим; не в силах даже слышать об этом, мы бегством спасаемся от брака, и брак получаем в удел. Корабль помогает бегству, но Посейдон объят бурей, и рука кормчего вырывает прекрасную деву из этих вот злосчастных рук».

После этих слов у меня перехватило дыхание, язык мне не повиновался, и я жалко рухнул на землю. Служанки Родопы окружили меня, подняли и, принеся в покои моего господина, положили на постель вестника, а сама Родопа, сев подле, держала за руки, утирала мне испарину, плакала, стенала над моим злосчастием и, стараясь привести в чувство, мазала мне ноздри благовониями и мокрой рукой прикасалась к моей груди, чтобы легче было сердцу.

Наконец, Родопа отослала всех рабынь, кроме служанки Исмины, привлекши меня к себе, поцеловала, целуя, заплакала, глубоко вздохнула и «о, Тиха, — сказав, — все в жизни преобразующая и природные свойства изменяющая! О, сын Зевса, владыка Эрот, властвующий над людскими душами, отнимающий свободу и вместо этого обрекающий рабству», спросила, как мое имя.

Я в ответ: «О, госпожа, и его отняло у меня божество, не пощадило даже и имени, но как из свободного сделало меня рабом, вместо сладости свободы познакомило с горечью рабства и сменило свет тьмой, так вместо эллинского имени нарекло варварским, назвав вместо Исминия Артаком. Теперь я всецело раб и именем, и судьбой».

Так я сказал и узнаю вдруг в этой прислужнице Исмину — она вся была жалобой, вся — только слезами.

Родопа спрашивает: «Что, служанка, с тобой?».

А Исмина: «Этот юноша, — говорит, — мой родной брат, госпожа» и, обняв меня, стала целовать и всем телом прильнула ко мне.

Я заключил ее в объятья и тоже стал целовать, «Исмина, — говоря, — сестра моя», а она: «Брат мой родной», и опять целует меня. Насилу мы разомкнули объятья, уверовав в выдумку Исмины.

Тут Родопа обвила меня руками и поцеловала, говоря: «Я люблю тебя из-за твоей привязанности к Исмине и целую за братские чувства к ней».

Какая-то служанка вошла в покой и говорит: «Твой отец, госпожа, Сострат, и вестник, господин над этим вот человеком, возвращаются из храма».

Родопа спешит в сад, моя мнимая сестра и ее рабыня Исмина, как следует рабыне, сопутствует ей, а я встаю с постели и ложусь, как подобает, на голую землю.

Вошел господин, я встал; он вел себя как господин, я как раб. Снова богатая трапеза, снова вестник, мой господин, за столом, снова я, раб, услуживаю своему господину и всецело слуга вестника. Снова Родопа смешивает вино, снова я сажусь под лавровое дерево. Радуюсь, что гляжу на Исмину как на Исмину, но печалюсь сердцем; ум мой в осаде, и всевозможные мысли тревожат меня.

Тут дочь Сосфена, по прихоти случая рабыня Родопы, по воле любви моя владычица, а теперь, благодаря счастливой выдумке, моя сестра, Исмина, свет моих глаз, та, кого моя любовь сделала рабыней в Артикомиде, приближается к лавру, садится рядом со мной, открыто целует, целуя, смеется, смеясь, говорит: «Я как брата целую тебя и как возлюбленного обнимаю, но знай, это не мой поцелуй: не твоя возлюбленная целует своего любимого, не сестра брата, а рабыня возлюбленного своей госпожи. Родопа, моя госпожа, любит тебя; я только посредница, и поцелуй послан ею. Не измеряй любви благополучием, чтобы, стремясь к свободе, не оказаться рабом страсти свободной Родопы и не поработить души, стремясь избежать телесного рабства. Не пренебреги любовью твоей Исмины! Ведь если прелесть моего лица увяла, как локридская роза,[11] красота моей девственности — неувядаема; если тело мое в рабстве, свобода души нетронута; о том же, что из-за тебя я теперь рабыня, раньше была пленницей, до того же, как попала в руки варваров, меня ввергли в море, я умолчу!». Так со слезами на глазах печально говорила Исмина.

Я начал: «Исмина», и поцеловал девушку и, поцеловав, зарыдал и, рыдая, «Исмина, — снова сказал, — из-за тебя я стал рабом и счастлив разделять с тобой рабство — ведь и свободу мы любовно делили друг с другом. Мне слаще рабом умереть с Исминой, чем свободным вкушать бессмертие с Родопой. Кто же спас тебя из пучины и моря? Кто привел сюда в Артикомид?».

Она: «Теперь не время об этом рассказывать. Я — Исмина, и я жива, хотя была из-за тебя пленницей, а теперь, как видишь, рабыня. Моя госпожа, хотя она и госпожа, мучится страстью к тебе, стала твоей рабыней и доверяет мне свои любовные страдания, так как любит Исминия, брата рабыни Исмины. Будучи свободной, она в рабстве у Эротов».

Так она сказала и снова стала целовать меня и снова: «Это не я тебя целую, — говорит, — а только передаю тебе поцелуй моей госпожи, Родопы, которой, как полагается рабыне, прислуживаю».

А я в ответ: «Я верю, что ты — Исмина. Я целую тебя в губы, рабыня ли ты, сестра ли мне или возлюбленная, и целую твои поцелуи не потому, что их передает Родопа, а потому, что это поцелуи Исмины, которую Зевс назначил мне супругой, чью руку владыка Эрот вложил в эту мою руку, кого похитил Посейдон, кого ныне владыка Эрот снова возвращает мне. Прощай Родопа с ее любовью, прощай всякая иная дева, которую Эроты на забаву себе могут влюбить в твоего Исминия».

На это Исмина: «Пусть ты не любишь Родопы, пусть отвергаешь ее любовь, пусть верен клятвам — для меня делай вид, что влюблен, и для меня прикидывайся любящим: может быть, такое притворство окажется не напрасным и принесет нам пользу. В худшем случае как рабыня я, не таясь, буду видеться с тобой, как родная сестра обниматься и как посредница передавать тебе поцелуи».

Я ответил: «И боги тебе пусть свидетели будут,[12] что я не обману твоей любви и не нарушу клятв, которые дал. Я готов помогать тебе разыгрывать эту игру, представлюсь твоим братом и, скрыв, что я возлюбленный твой, прикинусь возлюбленным той. Ты же приноси мне поцелуи или что-нибудь другое, богаче наделенное любовной силой, чем они. На твоих губах и повсюду на твоем теле, где можно собрать любовный урожай, я буду целовать Родопу и оборву весь виноградник, но сохраню девственность моей Исмины и дальше поцелуев не пойду».

Обняв Исмину и всю ее покрывая поцелуями, «Не тебе, — я продолжаю, — предназначаются эти поцелуи, твоей госпоже Родопе я их посылаю на твоих губах». А она, словно и вправду собираясь передать мои поцелуи Родопе, бросила меня, побежала к госпоже и стала что-то шептать ей. Я тоже поднялся на ноги, воздав прежде хвалу лавру, под которым сидел, называя его воистину золотым, деревом Аполлона, порождением земли, напоминанием об Афродите и утешителем Эрота.[13]

Итак, Родопа сделала Исмину как бы тропой, ведущей к ее страсти, и ей мнилось, что с помощью служанки она добьется любви; но моей единственной любовью была Исмина, и всю эту любовь я заключил в глубине своего сердца.

Так во время пиршества вкушал я любовь и так пиршество кончилось. Вестник, мой господин, вернувшись к себе, лег и, как это бывает после обильной трапезы, тотчас заснул.

Я вышел в сад. Снова Исмина служит любви своей госпожи и снова идет к ее возлюбленному, снова обнимает брата, снова целует, снова ей услуживает, снова передает чужие поцелуи. Я в ответ целую Исмину, обнимаю, представляюсь ее братом, прикидываюсь влюбленным в Родопу, в свою очередь шлю ей поцелуи, принимая Исмину как посредницу-рабыню, и открыто наслаждаюсь тайной любовью.

Исмина говорит: «Это письмо тебе от моей госпожи Родопы» — и протягивает мне. Я в ответ: «Исмина, по воле Эрота, ты — моя единственная владычица, страсти к тебе одной я предан, тобой записан в рабы и служу Эроту, эта запись для меня горька и вместе исполнена сладости и несмываема во веки. Ты нитр,[14] который съел мой вестнический наряд, ты тать, дерзко похитивший мою чистоту, ты — гелеполида,[15] отнявшая у меня отчизну и отца с матерью. И вот я пленник и теперь, как видишь, — раб. Претерпев все это, я счастлив, оттого что Эрот чудесным образом вернул тебя, мою Исмину, из Аида. Любовь же к Родопе для меня — только обман и вымысел: тебе лишь, Исмина, одной и твоей красоте безраздельно отдал я мои глаза».

Она отвечает: «Хотя твои поцелуи полны страсти, хотя уста, подобно соту, источают мне мед, но любовь я чту не только на словах: мне претит ее свершение, если оно сопряжено с расплатой. Из вестника и свободного человека ты стал рабом и нищим; что я стала рабыней, ты это видишь; из свободной и счастливой ли, должно тебе сказать. Родопа, моя госпожа, может нас спасти и вернуть нам свободу».

Я отвечаю Исмине: «Хотя женщина по природе более пылка, хотя по природе менее постоянна, однако, как говорится в трагедии,

Когда нанесена обида ложу их,
То кровожаднее не сыщешь нрав другой».[16]

Едва приметная улыбка появилась на лице Исмины.

«Блаженны, — сказала она, — и мужское постоянство и большая холодность в жару любви.

К чему скорбеть, коль словом умертвят меня —
В деяньях я спасусь, стяжаю славу так».[17]

КНИГА ДЕСЯТАЯ

Так-то вот сказала Исмина — страстно, обвила меня руками и поцеловала. «Исминий, — молвила она, — спаси свою Исмину и, что еще важнее, себя, моего Исминия», и снова стала целовать и, целуя, молить: «Послушайся меня, сыграй влюбленного, чтобы я не считала наигранным твое нежелание сыграть». Я подчиняюсь ее уговорам и вскрываю письмо. Звучало оно так:

«Дева Родопа, дочь Сострата, шлет привет возлюбленному своему Исминию.

Исминий, я счастлива отчизной, родом и всем прочим, что составляет людское счастье, об этом ты по всему можешь заключить — сами обстоятельства тебе свидетельствуют. То, что всецело, включая даже глаза, я сберегла сокровище своей невинности нерушимым, непререкаемо доказали источник и лук Артемиды. Но ты, хоть и раб (не сердись на меня за это слово), всю душу мою затопил источниками Афродиты и ранил любов-

ными стрелами. Хотя я дева, хотя счастлива, хотя славна — все готова я отдать за твою любовь и эту мою отчизну, знаменитый город Артикомид, за твой Еврикомид, где никогда не была. Мое богатство и рука, которая пишет тебе это письмо, даруют тебе свободу. Исмина, моя служанка и твоя сестра, отныне тоже свободна. Да будешь ты счастлив, сменив рабство на брак с Родопой».

Прочитав это письмо, я говорю Исмине: «Скажи Родопе, что тебе угодно, но как будто говоришь с моего голоса. Если она захочет получить поцелуй, столько раз поцелуй ее, сколько я своими губами целовал твои уста. Если же она не удовлетворится одними поцелуями и не успокоится вкушением любви только губами, а, подобно женской финиковой пальме, жаждет побега от мужской пальмы, который проник бы в самое сердце, я сделаю это с тобой, чтобы ты передала ей».

Так сказал я Исмине и, снова заключив ее в объятья, поцеловал. Она убежала к Родопе, а я побежал в покои моего господина и, растянувшись, как полагается рабу, на земле, заснул, покорившись ночи. Снова я беспрестанно вижу во сне Исмину и предаюсь с ней любовной игре. Как голодному чудится хлеб, а жаждущему мерещится вода, так охваченная любовью душа все подчиняет своей страсти, и мысли наяву, и сновидения. Чуть пришла ночь, вслед за ночью сон, а с ним грезы. Затем снова пришел свет, и улыбнулась сладость дня. Я встал, подошел к господину и стал прислуживать ему.

Тут появляется Сострат и говорит: «Вестник, гляди, весь город Артикомид собрался у ворот, чтобы сопровождать тебя в Дафниполь. Облекись же в вестнический наряд, с головы до ног будь вестником».

Вестник увенчивает голову венком, надевает хитон и сандалии и, с головы до ног украшенный вестническим одеянием, выходит на улицу. Снова весь город поднялся, снова толпа пляшет, устраивая вестнику торжественные проводы, как прежде устроила ему пышную встречу. Чтобы не останавливаться на подробностях, скажу, что, взойдя на корабль, мы отплыли из Артикомида и достигли Дафниполя.

И вот вестник и мой господин, окруженный сопровождавшими его сюда гражданами Артикомида, как полагается вестникам, идет к алтарю Дафния,[1] а я со слугами, прибывшими с ним, остаюсь в покоях господина.

Снова госпожа, словно в исступлении, безумствует от напасти, страсти ко мне, рабу. Бесстыдно обняв меня, она пытается поцеловать. Я от стыда закрыл лицо; мне было совестно, боги свидетели, и своевольной госпожи, и рабыни Исмины, и самого Целомудрия. Но госпожа тащит меня, вцепившись в мой хитон, а я, раб, не давал себя тащить и изо всех сил вырывался; началась неслыханная борьба между госпожой и рабом. Ведь я, раб, стремился соблюсти целомудрие свободной женщины, а моя госпожа, став рабыней Эротов, жаждала предать свою свободу.

Вдруг кто-то, вернувшись из храма, крикнул: «Госпожа, господин!». Сейчас же она бросилась к дверям, а я, точно из варварского плена, освободился от ее рук. К месту я вспомнил стихи трагедии и произнес:

О моря дщерь Киприда, всех владычица,
Как выдержать им взгляд соложников своих? [2]

Приходит вестник. За ним следует Сострат и дочь Сострата, держа за руку Исмину. Начинается богатый пир. Блистательно и пышно возлежит вестник, сняв свое парадное одеяние, а госпожа бесстыдно целует вестника и занимает место рядом с ним, а Сострат возлежит с Родопой. Пир был великолепен. Мне, Исминию, велят подавать вино моим господам и Сострату, отцу Родопы; Исмина же прислуживает Родопе, чтобы даже кубок, поданный мужской рукой, не осквернил ее девственности. Так мы с Исминой любовно наслаждались близостью друг друга и оба разделяли одинаковые чувства, подобно тому как разделяли рабство и одинаковый приказ своих господ.

Порабощенная Эротами, моя госпожа затевает шутливую игру кубком, вернее Эроты затевают свою шутливую игру с ней, избрав для этого меня и кубки. То она сжимает мне палец, то вместе с кубком притягивает к себе всю мою руку, то шутит как-нибудь иначе, вернее Эроты шутят с нею. А я, как огня, сторонился всего этого и играл с Исминой, тоже разливавшей вино, предпочитая забавляться с рабыней, а не с госпожой. Родопа одобряла эти игры и побуждала к ним свою рабыню: ей казалось, будто так она сама становится участницей любовной игры. Глядя на это, я думал, что скорее Родопа — рабыня Исмины, потому что она служила ее любви. Так в шутках, в обмене любовными взглядами и вкушении изысканных наслаждений прошло пиршество, и кончились наши обязанности виночерпиев.

Исмина последовала за Родопой и ушла вместе с ней в покой, который мой господин отвел для Сострата, украсив его роскошно и богато; я же в толпе других рабов отправился в предназначенное для рабов помещение, вместе с рабами возлег, поел и в конце концов заснул.

Около третьей стражи ночи [3] Сострат с Родопой и моими господами отправляются к алтарю Аполлона, а Исмина и я сопровождаем, как принято, своих господ и вместе с ними идем к алтарю, треножнику и лавру. Там был шум, крики, смятение, слышался плач и причитания. Фемистий, мой отец, и Сосфен, отец Исмины, затягивали плач, а обе наши матери сдвигали, как говорят, камень с черты [4] — чего только они не выкрикивали, чего не делали, что будит сострадание и склоняет к сочувствию. Жалкие видом, еще более жалостно вопиющие, более горестные, чем альциона,[5] более скорбные, чем соловей,[6] уподобившиеся горькой Ниобе,[7] они соперничали друг с другом в печали, обе оказывались победительницами, обе побежденными, обе разрывали на себе одежду, обе царапали щеки, обе били себя в грудь, обе в знак боли терзали волосы, обе посыпали себя пеплом.

Ведь моя мать «Аполлон, Аполлон, — страстно взывала, словно обезумела от криков и потеряла рассудок от слез. — Погибла я, Феб-Аполлон; [8] срезан локон всего моего рода.

Луг мой — цветущий молодостью сын, а я садовник, но, увы, он со всей своей красой, со всеми цветами жалостно у меня отнят.

Источник мой, текущий медом — мой красивый мальчик, которого я лишилась. Я высохла и стала пучком полыни; беда всю меня напитала горечью.

Надежная гавань мне — сын Исминий и, подобно кораблю, я в гавани находила защиту от ветров и не боялась волн. Нет у меня теперь гавани, и, подобно кораблю, меня в открытом море затопляют волны.

Солнцем был мне мой сын, ныне же он, как солнце, закатился, и мрак окутывает его мать. Я променяла некогда светлый для меня, сердцу любезный Еврикомид на Киммерию.[9]

Светлая звезда моя — сын, но она потухла, и темная ночь скрывает мать. Светом мне был мой сын, но свет погас, и теперь я хожу во мраке.

Аполлон, твой отец Зевс, увенчав его лавром, посылает блистательным вестником в губительный Авликомид. Тогда блаженство подымало мать до самых небес, ныне печаль низводит ее к самым вратам Аида. Вестник — теперь беглец, свободный — раб, девственник — пленник Эрота — и в довершение всего я, бездетная, оплакиваю сына, а еще горше оплакиваю мать.

Но сын, вестник, господин, как мне оплакивать тебя? Как увенчать венком из слез? Как умершего? Но Зевс, быть может, сберег твоей матери дитя, быть может, ты жив, но пленен и несешь рабскую службу у каких-нибудь варваров, ты филэллин,[10] вестник, господин над многими рабами!

О треножник, о лавр, а прежде всего вещий Аполлон, не отринь эти мои возлияния и мои слезы, открой мне правду о судьбе сына, и да будет твое вещание не зловещим, а благим. Длиннокудрый Аполлон, сжалься над моей жалкой головой — на ней уже нет кудрей; Дафний-Аполлон,[11] сохрани моего сына Исминия; он некогда блистательно увенчал свою голову твоим лавром, ныне покрывает эту вот мою горестную голову шлемом Аида».[12] Так на трагический лад жалостно причитала моя мать Диантия и, словно море волнами, покрывалась слезами и заливала ими все святилище.

А Панфия, мать моей Исмины, тоскливо подхватила: «Увы, дитя мое Исмина, — неустанно повторяя, — ты погибла, вырвавшись из моих злосчастных рук, и погубила свою мать. Как быстрая птичка, ты взмахнула крыльями и улетела из моих бедных рук. О, этот страшный отлет, погасивший мой светоч.

Ты — мой брачный покой и медью окованный терем дев, но, увы, дитя мое Исмина, вместе с брачным покоем и девичьим теремом я потеряла тебя, деву.

Ты, Исмина, мой высокий кипарис, который я посадила в глубине своей души, питала росой девства и всячески холила, но налетевший из Еврикомида вихрь с корнем вырвал его. Не вестник это был, а лютый зверь, который похитил вдруг мою Исмину из этих жалостных рук, разъяв

объятий круг, унес мое сокровище, срезал колос, снял виноград, оборвал розовый куст.

Зверь тот, венком увенчанный, пришел в Авликомид и лишил мою голову украшения, сорвал с нее венок. Он прикинулся девственником и коварно увлек за собою мою деву, метнул в мое сердце стрелу, и теперь боль пронзает мою внутренность до самых глубин. Праздный еврикомидский трутень погубил мою Исмину, мою сладкую пчелу и наполнил мою душу полынью.

Огромный хищный орел, доченька, унес приносимую за тебя жертву прямо из моих рук и с огня алтаря — то был зловещий знак. Теперь прорицания Зевса сбылись.

Ты — мой полный сладости источник, услаждающий горечь моей старости. Но какой-то землекоп из Еврикомида отводит твою воду в другое русло; душа моя жаждет тебя, и губы ищут тебя как струящего свежие струи источника.[13]

Дитя мое, Исмина, как мне оплакать тебя, как горестно вспомянуть? Как умершую? Но в какой земле ты схоронена? Какая гробница скрывает тебя и весь источник прелестей поглощает? А если смерть сжалилась над твоей юностью, я хочу узнать, какой город принял тебя, мою Исмину, деву благодевную.

Но тот мучитель, тот святотатец, насмеявшийся над вестничеством и постыдно предавший его, осквернил твое девство. О, коварный обман, о, злосчастный мой талан, о, ограда, не оградившая, о, хитрость того зверя, обманом умыкающего, дерзостно похищающего?

О, вещающий источник, о, пророческий лавр и прежде всего Феб-Аполлон, прими эти горькие возлияния, которые приносит тебе злосчастная мать Панфия за свою злосчастную дочь Исмину».

Так обе матери горестно и слезно причитали.

Отцы еще более горестно били себя в грудь и в один голос стенали: «О, дети, — говорили они, — вы погибли, и мы погибли с вами. Эрот войной пошел на вас и осадил наши души. Эрот похитил у вас багряницу девственности, и мы, подобно пурпурнице, лишились своего покрова. Эрот оборвал ваш розовый куст и спалил наши души, словно терновник.[14] Любовным огнем Эрот сжег жар вашей юности, в пламени сгубил наши старческие сердца и обратил нас в уголья. Эрот, сын Зевса, идет войной на отца в самый праздник Зевса, в самый священный день, в пору Диасий. Он берет в плен вестника, отнимает у него целомудрие, осаждает весь девичий терем, беспощадно грабит наши души. Ветвями этого лавра, Аполлон, ветвями твоего дерева[15] мы увенчали головы своих детей, но Эрот сорвал венки и прахом увенчал головы отцов.

О, Аполлон, владыка Аполлон, пощади эти седины и помоги отцу осилить отцеубийцу сына. Прими возлияния, которые родители приносят тебе за своих детей, жалко гибнущих в пору самой весны, в пору самой молодости, в пору, когда луг еще в цветах».

Так вопияли наши матери и отцы, а окружающие их скорбели душой, плакали и горестно причитали.

Тут я, подойдя к Исмине, за руку притянул ее к себе и спросил: «Видишь, Исмина?».

Она говорит: «Обнимем наших матерей?».

Я: «Потерпи, — ответил, — подождем оракула».

Тут вода источника начинает клокотать, треножник звенит, пророческий лавр раскачивается, словно его колеблет ветер. Жрецов охватывает вдохновение, Феб прорицает, предсказывает, вещает и предрекает будущее. Оракул сулит, что мы будем возвращены своим родителям, и требует соединить нас браком. Эти слова заставляют всю толпу трепетать от благоговения, обе матери плачут от радости, отцы пляшут перед алтарем, а мы, взявшись за руки, припадаем к подножью кумира Феба. Подбегают наши матери, привлекают нас к себе, сплетаются с нами, обнимаются, целуют, плачут, крепко держат. Отцы влекут нас в противоположную сторону, и наши сердца разрываются между ними. Они славословия начинают, благодарствия возглашают, спасение прославляют. Толпа ликует, славит Аполлона и увенчивает нас лавром.

Но вестник, мой прежний хозяин, и Сострат, отец Родопы, набрасываются на нас, срывают наши венки, выкрикивают дерзкие и святотатственные слова. Они оскорбляют жреца и объявляют, что освободили нас из рук разбойников, и по закону войны мы их рабы.

Жрец снова увенчивает нас и говорит им: «Хорош же у вас закон, если вы с эллинами как с рабами обращаетесь, а еще лучше ваше благочестие, если вы вестников порабощаете. Аполлон пророчествует и назначает свободную долю свободным, кому эллинский закон и самое природа еще раньше даровали свободу. Вы же, порабощая свободных, пророчество попираете, закон презираете».

«Мы, — говорят они, — не презираем законов: этих людей записали в рабы копье и закон войны», и влекут нас, а мы не даем оторвать нас от подножия Феба.

Снова наши матери подняли плач, а отцы молили о помощи криками и слезами.

Сам жрец вмешивается в нашу схватку, но ничего не добившись, совлекает с головы венок, снимает хитон, сбрасывает сандалии и, взойдя на подмостки, громким голосом говорит толпе: «Зачем в столь великом множестве вы напрасно стекаетесь к алтарю Дафния? Зачем молите стреловержца [16] о пророчестве? Ваши почтенные законодатели дадут вам прорицание. Довольно, Феб-Аполлон, прорицать, довольно предрекать, довольно венком венчать!».

Толпа, потрясенная этими словами, смело бросается на наших обидчиков. А они, подобно нам, обнимают ноги кумира, словно им грозит смерть, молят жреца, взывают к Аполлону, «Прости, — говоря, — Аполлон, наш умысел и наши слова».

Они объявляют нас свободными, стремясь освободить собственные свои души. Нас снова увенчивают, провозглашают свободными и возвращают родителям. А те, полные ликования и радости, приносят жертву как за избавление от смерти, поют приветственные песни и возглашают победные. Мы вместе с ними пляшем и затягиваем пеан,[17] прославляя счастливое обретение свободы.

Наступает время трапезы; нас зовет к себе жрец и богато угощает. Исмина в смущении не поднимает глаз с земли и не дотрагивается до кушаний даже...,[18] а у меня, словно у какого-нибудь победителя на олимпийских играх, от радости и счастья глаза и руки были обращены на трапезу, но хотя уста и горло я предал яствам, мысли мои всецело были заняты предстоящим браком.

После обильных, разнообразных и богатых кушаний жрец поднялся из-за стола, препоясал хитон и, обнажив руки, подал нам вино. «Этот кубок, — говорит он, — в честь Аполлона-Спасителя». И вот пьют наши отцы, а вслед за ними матери. «Благодарим тебя, — говорят, — Аполлон, за доброе попечение о наших детях».

После них жрец протягивает кубок нам, «Один общий, — говоря, — кубок дает вам Аполлон, чье вещание велит сопрячь вас браком, кто дарует вам свободу и соединяет ваши жизни».

С этими словами он возлег и «Жених, — опять говорит, — Исминий (ведь пророчество Аполлона даровало тебе это имя), я надеюсь, ты не откажешь и расскажешь все, что с вами было с самого начала до самого конца».[19]

Я ответил: «Ты зажигаешь полные чаши пламени и ворошишь муравейник трагических превратностей!».

На это он: «Не умолчи, — говорит, — заклинаю тебя Аполлоном, ни о чем, заклинаю самой свободой и брачным покоем, который блистательно уготовил тебе Аполлон».

Я говорю: «Прости, господин,[20] ведь душа моя всецело смущена стыдливостью, а ум всецело смятен. Я сохраню свой рассказ для завтрашнего дня».

Мои слова убеждают жреца, пиршество кончается, и мы идем к себе. Ведь для Фемистия, моего отца, для матери Диантии и для меня жрец отвел один покой и приготовил там три великолепные постели; мы легли и заснули. Сосфену же, Панфии и их дочери Исмине — другой покой. Так мы, разлученные друг с другом, провели ночь.

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

На следующий день мы снова предстали перед алтарем и, увенчав голову лавром, праздновали свое освобождение, пели эпиникии,[1] били в ладоши, принося в жертву Аполлону целые гекатомбы,[2] а народ, кото-

рого там было несметное множество, глядел на нас и показывал пальцами. Наша, Исмины и Исминия, повесть была у всех на языке, и все из-за нас славили Аполлона.

Снова час трапезы, снова жрец устраивает богатый пир, снова принимает нас с великой щедростью. Когда пиршество окончилось, устроивший его жрец снова стал настойчиво расспрашивать о наших приключениях и безотлагательно требовать нашего рассказа. Я, хотя смущался, хотя робел, хотя дрожал, однако против воли приготовился начать, но голос у меня пропал, и язык отказался повиноваться. Но все-таки едва слышно я приступаю к рассказу.

«Отец мой — этот Фемистий, мать — Диантия, кого ты принимал с таким редким гостеприимством, город Еврикомид, где чтут алтарь Зевса-Гостеприимца и обряд Диасий, — моя родина. Вестник, по жребию назначенный вестником не куда-нибудь, а в Авликомид, я увенчиваюсь лавром. Прихожу я в назначенный мне город с приличествующей пышностью, потому что меня посылает Зевс, и я — вестник Диасий. Останавливаюсь я вот у этого Сосфена; он встречает меня с великим гостеприимством и оказывает мне блистательный прием; Сосфен вводит меня в сад; там для меня устраивается пиршество, а неподалеку от луга приготовляется ложе. Этой вот Исмине, своей дочери, Сосфен, ее отец, приказывает подавать вино; она подает, повинуясь отцу.

Трапеза кончается. Исмина омывает мне ноги, ноги девственника руками девственницы. Я ложусь на постель и как девственник тотчас же засыпаю. Встав наутро, иду в сад, любуясь его деревьями и другими красотами, обращаю глаза на ограду, вижу сначала какие-то другие картины, а потом золотой трон, сидящего на нем нагого отрока, вооруженного, несущего факел, с окрыленными ногами и прекрасным лицом. Этого мальчика с покорностью рабов окружают цари, правители, тираны, звери, цари зверей, весь род пернатых, весь род морской и какие-то две удивительные женщины, ростом выше обычных женщин, судя по морщинам, дряхлые и трижды дряхлые. Одна — совсем белая: лицом, волосами, одеянием, руками, ногами, всем телом, другая — совсем черная: ликом, руками и с головы до ног и даже до самых ногтей. Взглянув на них, я был смущен и думал, что эта странная картина — искусный вымысел художника, но над головой отрока был ямбический стих, пояснявший, что сидящий на троне и, подобно царю, повелевающий всеми — это Эрот. Я же не только хулил картину, но и над самим Эротом с высокомерностью девственника насмехался.

А он ночью является мне во сне и корит за мои речи, овладевает, наконец, моей душой и делает одним из своих рабов вместо вестника, вместо девственника превратив во влюбленного; затем вверяет моей руке эту вот Исмину и летит прочь с моих век, увлекая за собой мой сон, мою чистоту, мое вестническое достоинство. И вот я, вестник — влюбленный,

девственник — не девственный.[3] Развращая всю Исмину взорами, речами, кивками, я и ее превращаю в Эрота.

Так я прихожу из Авликомида в Еврикомид, безраздельно порабощенный любовной страстью к Исмине. Но и сама она не спаслась от огня, крыл и лука Эрота, а также и от моих речей, внушавших ей то, чему обучают Эроты.

Я любил Исмину (был ли я любим, пусть скажет она), и мы связали себя обетом брака. Стремясь в полной мере его осуществить (пусть здесь прозвучит правда!), я не мог склонить к этому девушку. Этот вот Сосфен, ее отец, в середине трапезы и богатого пира, объявляет о браке дочери с другим. Мы стараемся спастись от этого брака бегством, побегу помогает Кратисфен и корабль, взойдя на который мы покидаем мой родной Еврикомид. Ветер нам благоприятствует, и мы счастливо плывем вперед.

Вдруг Посейдон потрясает море, вздымает подобные горам волны, хочет затопить корабль; кормчий приказывает принести искупительную жертву. Мы мечем жребий, и жребий выпадает Исмине. Ее бросают в море, и тотчас бог дарует морю успокоение. Затем я убеждаюсь, что Исмина ожила, а как, не знаю, клянусь той страшной бурей, клянусь Посейдоном и своим горьким рабством, клянусь Аполлоном и сладостью свободы. Я весь корабль потрясал своими стенаниями и затоплял слезами. Кормчий и прочие корабельщики не в состоянии это дольше сносить, ведут корабль к берегу и покидают меня там. А я на прибрежный песок, словно на кенотафий[4] Исмины, приношу девушке возлияния своими слезами.

Внезапно появляется триера,[5] полная диких варваров, которые, подобно зверям, свирепо на меня кидаются, грубо тащат за волосы и бросают на триеру за весла. После своей варварской трапезы они пускаются в путь, нападают на какой-то городок, грабят его и нагружают корабль добычей. Юношей они сажают за весла, тех, кто старше юношеского возраста, предают смерти и бросают в море (не счесть, сколько мужчин варварские руки захватили в городке), с женщинами обходятся бесстыдно, а девушек не бесчестят даже своими варварскими прикосновениями.

Так мы достигли Артикомида, и варвары на варварский лад заключили союз с жителями этого города, и так вся добыча, кроме пленников, была выгружена там. Взятых в плен девушек дорого оценили; сначала, однако, они были брошены в источник Артемиды; за нас же, юношей, и за женщин в Артикомиде не давали ничего. И вот снова мы на триере и, снявшись с якоря, оставляем гавань, входим в другую, где варвары причальными канатами прикрепляют триеру, выходят на берег и вместе с собой уводят женщин. После богатой еды и вина (этим в большом количестве варвары запаслись в Артикомиде) они стали бесчинствовать с женщинами, а потом заснули, опьяненные вином и любовью.

Посреди их сна и любви, вернее сказать, посреди варварского бесчинства появляются воины из Дафниполя, нападают на спящих варваров, схватывают их, режут, награбленной добычи лишают и нас за собой увле-

кают. Затем воины вместе со всеми своими пленниками торжественно проходят по улицам этого города и, в конце концов, по воле оракула делают нас рабами и по жребию отдают в разные руки. Снова я теряю свободу, и рабское ярмо приводит меня в Дафниполь.

Но вот наступают эти дни, дни праздника Аполлона, великое торжество и всенародное ликование. Вестники мечут жребий, и моего господина, который вчера порвал венок моей свободы, отправляют вестником в Артикомид. Он прибывает в определенный ему жребием город, я как раб сопровождаю господина. Нас принимает Сострат, отец Родопы, вчера отнявший у Исмины ее венок.

Я узнаю, что Исмина — рабыня этой Родопы, и представляюсь ее братом. Она выдает себя за мою сестру, и мы предаемся нежности на глазах самой Родопы. Любила ли меня Родопа и прибегала ли тут к помощи моей сестры Исмины и ее рабыни, пусть скажет Исмина.

То же, что было у жертвенника, ты знаешь лучше нас — про слезы матерей, причитания отцов над нашей участью, про пророчество, про то, как родители вновь обрели своих детей, про венок свободы, про увенчание, про развенчание, про твое спасительное вмешательство, про венок нашего освобождения и про все остальное, случившееся у этого великого алтаря свободы».

Когда я смолкаю, жрец говорит мне: «Радуйся!» — и переводит глаза на Исмину, «Дева Исмина, — говоря, — о судьбе этого твоего жениха я знаю из его собственных уст. Округли же ты рассказ, наподобие полной луны, чтобы он светил полным светом».

Она в ответ: «Пощади меня, ради Аполлона-Спасителя!

Стыдливость ведь преграда уст девических.[6]

Я не хочу быть столь дерзкой, чтобы презреть страх перед отцом и почтение перед матерью: молчание ведь и скупость в речах — украшение дев».[7]

Так девушка, застыдившись, отвечала ему, а добрейший жрец: «Дева, дитя мое, — говорит, — вот Аполлон дарует тебе свободу и соединяет с тобой этого вот прекрасного Исминия, а ты не хочешь даже принести в жертву богу рассказ о пережитых тобой превратностях, чтобы эта повесть сохранилась навеки и не забылось чудо, которое великий Аполлон, так необычайно вам предрекши, творит?».

Исмина молчала и только плакала.

Тогда Сосфен, пристально взглянув на нее и не спуская с дочери грозных глаз: «Не молчание, — сказал, — мерило скромности, а чистота поступков и целомудренность нрава. Ты не совестилась поступать дурно, а говорить стыдишься? Я, о Аполлон, был бы рад, если б она стеснялась делать, а не говорить».

Тут я, клянусь богами, сам стал заливаться румянцем, готов был заткнуть уши и чувствовал себя вторым Протеем,[8] тысячу раз меняясь в лице, так мне были досадны насмешки ее отца.

«Перестань, Сосфен, — сказал ему жрец, — чтобы девушка не ушла. Стыд ведь — детище порицаний, не поступки породили его».

А девушке он говорит: «Не уклоняйся, рассказывай».

Она обливается испариной и слезами, не может сладить со своим языком, теряет голос, задыхаясь от волнения, опускает глаза.

«Обо всем, включая корабль, море и бурю, — говорит Исмина, — уже рассказал этот человек. Когда меня ввергли в море, дельфин подставил мне спину; он нырял в волнах и легко рассекал воду, а я, сидя обнаженной на его спине, качалась на волнах, замирала от головокружения, терзалась сердцем от ужаса перед зверем. Зверь был моим спасителем, но того, кто был мне рабом, я считала врагом, содрогалась перед спасителем, врага любила и обнимала как спасителя. Так как мой спаситель теперь — зверь, я жаждала от него уйти, но не доверяла волнам, и меня угнетали сомнения, валы и зверь.

Когда я уже испускала дух, передо мной появляется нагой юноша (и он был на дельфине), протягивает мне руку, взяв мою, выводит на берег и, взмахнув окрыленными ногами (ноги его были окрылены), скрывается с моих глаз.

А я, сидя на прибрежном песке, «О мать, — в слезах твержу, — о мать, о мать моя!».

По прошествии нескольких дней (сколько их было, точно не знаю) я вижу идущий мимо корабль, протягиваю к нему руки, телодвижениями умоляю, криком взываю. Корабельщики направляются к берегу и забирают меня с собой на корабль; они страдают душой, набрасывают на меня какие-то лохмотья и из жалости дают поесть, всецело разделяя со мной горе.

Всю ночь плывя при попутном ветре, мы двигались почти без усилий, и вдали уже показалась земля. С восходом солнца стали набегать волны, поднялся ветер и сорвал мачту. Чтобы уйти от бури, кормчий направил корабль к берегу, но, спасшись от дыма, негаданно попал в огонь: он причаливает и тут же отдает нас во власть звероподобных людей. В гавани ведь стояла триера, а на берегу толпа мужей с лютыми глазами, с лицами черными, с руками безжалостными — не люди, а подлинно чудовища. Они всех нас схватывают, мужчин без пощады убивают и радуются добыче. Меня они, не знаю как, бросают в трюм корабля, надев на ноги колодки.

На следующий день пираты подняли парус, вверив триеру ветру; всю ночь нас спокойно несло его легкое дуновение. Когда же засиял свет солнца, мы заметили землю и расположенный на ней город. Пираты сходят на берег, заключив с его жителями мирный договор, разгружают корабль, выводят из трюма и меня, ведут затем к какому-то источнику, увенчав лавром, бросают в воду, вскоре снова выводят из воды и отдают в рабство Родопе, с которой я пришла сюда к великому алтарю, даровавшему мне свободу, как со своей госпожой по вине моря, судьбы и неволи у варваров».

После этого рассказа моей Исмины пир кончился, и тотчас, как это бывает вслед за обильной трапезой, мы предались сну.

Когда же мрак рассеялся (ведь солнце поднялось над землей), мы, стряхнув сон, все поднялись с постелей и по завершении праздничных обрядов из Дафниполя отправились в Артикомид, чтобы испытать Исмину, как золото в огне, источником и луком. Мы пришли к источнику Артемиды; туда же вместе с нами устремляется весь город Дафниполь. И жители Артикомида собираются у источника и лука, видят украшенную венком Исмину, Артемиду умоляют, сострадают девушке, в ее девственности сомневаются, не полагаются на чистоту, страшатся испытания. Я стоял, не сводя глаз с лука, источника, венка, глядя, плакал, и душу мою осаждали сомнения. Исмину увенчивают, стоящие вокруг испускают громкие клики; ее бросают в воду источника; толпа молчит, и нигде ни звука. Лук недвижим, вода не бежит, дева легко скользит по волнам. Толпа ликует, от радости пляшет, весело бьет в ладоши, восторженно кричит: «Девушка — дева», — громогласно возвещает. Я же всей душой предавался счастью.

Деве (никто более не усумнится, что так ее следует именовать) помогают выйти на берег, мать ее обнимает, счастливый отец славит; Исмину ведут к Артемиде и увенчивают победным венком. «Она — девственна! Никто более не сомневается в девушке». Так мы из Артикомида возвращаемся в Авликомид и пышно празднуем свадьбу в саду Сосфена, у того пиршественного стола и водоема, у которых впервые воздвигли любовный чертог.

Поднялся весь город Авликомид — поет, в ладоши бьет, ликует, пляшет перед спальней, перед брачным покоем, перед нами, новобрачными, затягивает гименей,[9] запевает эпиталамий [10] и славит блестящий брак.

Кто столь сладостно одарен музой, велегласен, искусен в аттической речи,[11] способной с изяществом передавать возвышенное, чтобы словами живописать свадьбу и рассказать о ней? Воистину то был свадебный покой богов, брачное празднество Геры, свадебный чертог Афродиты.

Я радовался столь блестящему своему и пышному брачному торжеству, а особенно тому, что Эрот блистательно привел мне Исмину, царственно посадил рядом со мной и торжественно увенчал венком. Но я жаждал окончания пира и, Эротом клянусь, ненавидел день, ожидая ночи, и шептал, немного изменив его, стих из комедии:

О царь Зевес, как нескончаем этот день! [12]

Итак, мое брачное торжество было выше велегласия Гомера, выше всякой музы, выше всякой искушенной в риторике речи.

Но, о Зевс, чьим вестником я пришел в этот Авликомид, о владыка Эрот, чьим рабом я возвратился из этого Авликомида в родной Еврикомид, о Посейдон, в бурю взявший эту Исмину очистительной жертвой, о великий Аполлон, подаривший нам свободу, о лук Артемиды и источник, доказавшие ее девственность, да не поглотят того, что с нами случи-

лось, ни бездна забвенья, ни долгие годы, ни старость, ни отнимающая память чаша, которую пьют в Аиде.[13]

О Зевс, если, дивясь любви братьев Диоскуров, ты в небесах сохраняешь память о них бессмертной, наша любовь выше, так как друг с другом мы разделили всю жизнь.[14] Если, пожалев великого Геракла из-за множества скитаний и блужданий, ты увенчиваешь память о нем в небесах,[15] разве мы не были пленниками, рабами, скитальцами и сверх того не соблюли девственность? Но раз я предал свое вестническое достоинство, предпочел Эрота, сына Зевса, отцу, Зевс не поднимет до горних высей славы о нас и не удостоит в небесах памяти.

Ты же, о Посейдон, если сострадаешь Икару и морем хранишь память о нем бессмертной, даровав по имени юноши ему название,[16] неужели не сохранишь и о нас памяти, нарекши море в воспоминание о наших чудесных приключениях и отобразив в волнах превратности нашей судьбы несмываемыми до скончания века? [17] Так должно было быть. Но знаю, тебе стыдно своего поражения и ты боишься, как бы, запечатлевая то, что выпало нам на долю, не поведать правды о себе.

Ты, матерь земля, если тебе жаль преследуемой Дафны, прячешь и спасаешь ее и по своей воле производишь на свет в воспоминание о ней соименное деве дерево,[18] если блюдешь бессмертие Гиацинта в соименном ему цветке,[19] неужели не соблюдешь памяти о нас? Неужели не породишь соименные нам растения, бессмертные памятники нашей жизни, этой вот Исмины и моей, Исминия, отобразив в них все, что мы претерпели, и запечатлев, чтобы сохранить для потомства бессмертную память о нас? Но колебатель земли этот Посейдон; но сотрясатель он земной тверди; и рыкнет он на тебя, как лев, и сотрясет тебя, свою матерь, если увековечишь нашу повесть и разгласишь поражение, нанесенное ему Эротом. Но я люблю мать, чту мать и лелею мать. Поэтому, если Зевс не допустит в горние выси повести о наших деяниях, если Посейдон не запечатлеет ее на морских волнах, если Гея [20] не воплотит в растения и цветы, как на невянущих деревьях и нерушимых камнях, она будет записана палочкой для письма и чернилами Гермеса [21] языком, дышащим риторическим пламенем, и кто-нибудь из потомков перескажет ее и словесно как бессмертный памятник воздвигнет золотую статую.

Влюбленные одобрят нашу повесть за множество любовных услад, девственные и чистые возрадуются целомудрию, сострадательные пожалеют о наших злосчастиях — так память о нас станет бессмертной.

Мы же исполним написанное усладой и украсим книгу любовными прелестями и всем прочим, чем украшают книги и расцвечивают речи.

Название книги будет: «Повесть об Исмине и обо мне, Исминии».



ПРИЛОЖЕНИЯ



ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ЛЮБОВНОЙ ПРОЗЫ

(«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» АРИСТЕНЕТА И «ПОВЕСТЬ ОБ ИСМИНИИ И ИСМИНЕ» ЕВМАТИЯ МАКРЕМВОЛИТА).

Византийская литература бедна жанрами, которые сейчас называются беллетристическими, небогата она — особенно это касается прозы — и любовной тематикой. Но все же эта литература менее уныла и однотипна, чем ее себе обычно представляют. Она не исчерпывается строгими и сухими сочинениями — в стихах или прозе — на религиозные, дидактические или исторические темы. В Византии встречается и любовная эпиграмма, и фиктивное письмо, и бытовая сатира, и роман в стихотворной и прозаической форме, и героический эпос и ряд других жанров, не укладывающихся в очерченные выше рамки. И как в быту византийцы знали не только лампадное масло, церковные службы и посты, но и ни с чем не сравнимый азарт на ипподроме, соленое острословие и вино не единственно в причастной ложице, так и не все памятники ее литературы отмечены чертами условного «византинизма».

В настоящую книгу включены два автора разного времени, представляющих эту малоизвестную и тем более любопытную линию: эпистолограф Аристенет[1] (VI в.) и автор романа «Повесть об Исминии и Исмине» Евматий (XII в.).

Литература греческого средневековья недостаточно изучена, и до сих пор справедливым остается неутешительный итог, подведенный почти пятьдесят лет назад знатоком византийской культуры А. Рудаковым: «История этой богатой, пышной и цветистой литературы еще не вышла из стадии простой регистрации памятников или общей характеристики содержания и формы, — словом того, что можно назвать лишь внешней исто-

---

[1] При передаче собственных имен и географических названий переводчик старался следовать нормам византийского произношения. Однако в отдельных случаях соображения евфонии и традиции заставляли его от этого отступать. Сюда в первую очередь относится транслитерация имени Аристенет, укоренившаяся по-русски вместо византийской формы Аристинит.

рией литературных произведений».[2] Это положение вещей служит извинением неизбежных пробелов и недостатков при попытке иного подхода к материалу.

1

«Любовные письма» Аристенета — произведение, которое и с точки зрения своей внешней истории предлагает берущемуся за него ряд загадок. Задача усложняется тем, что разгадки можно вычитать только из самого памятника, так как сведениями каких-нибудь других источников, обычно облегчающими работу, мы не располагаем. Даже имя автора нельзя считать установленным. Скорее всего, Аристенет — имя не автора сборника, а его героя.

Еще первые исследователи «Любовных писем» обратили внимание на то, что этимологически оно может быть расшифровано как «хвалящий лучше всех». Так как в сборнике сплошь и рядом использованы смысловые имена, намекающие на занятия, пристрастия или характеры корреспондентов, то имя «хвалящий лучше всех», которым назван автор открывающего книгу письма, посвященного прославлению женской красоты и адресованного Филокалосу — «любителю красоты», справедливо вызвало подозрение.

Против этого традиционного взгляда выступил недавно последний исследователь «Писем» А. Лески.[3] Он обратил внимание на ошибочность этимологии: Аристенет, согласно Лески, значит не «хвалящий лучше всех», а «заслуживающий преимущественной похвалы», что, по его мнению, исключает возможность смыслового использования имени, и предложил свою догадку: автор, реальный носитель распространенного в то время имени Аристенет, создав свою книгу, пожелал, как это нередко делалось, снабдить ее сфрагидой — печатью своего имени и потому выступил в качестве первого корреспондента.

Такая гипотеза однако представляется маловероятной, поскольку «заслуживающий преимущественной похвалы» — тоже смысловое имя, вполне согласующееся с образом автора щегольски написанного письма и не в меньшей степени, чем «хвалящий лучше всех», служащее ему характеристикой. Едва ли также автор использовал свое имя как печать, так как оно «сливается» с фоном, т. е. с множеством других смысловых имен, что делает употребление сфрагиды бессмысленным. Вдобавок случаи, когда бы автор выводил себя в качестве действующего лица собственного произведения, в греческой литературе необычайно редки.

Не исключена, на наш взгляд, другая возможность: ведь, кроме смысловых имен, автор сборника охотно называет действующих лиц именами, заимствованными им из своих источников. В «Диалогах гетер» Лукиана, от-

---

[2] А. Рудаков. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. М., 1917, стр. 6.

[3] Albin Lesky. Aristainetos Erotische Briefe. Zürich, 1951.

куда автор часто черпает ономастику, мотивы и текстуально целые пассажи, дважды (во 2-м и 10-м диалогах) встречается имя Аристенет. Вполне вероятно поэтому, что оно наряду с другими попало в сборник из Лукиана.

Пути же превращения героя фиктивного письма в автора эпистолографического сборника легко себе представить: ранневизантийское сознание нуждалось в прикреплении литературного произведения к какому-нибудь лицу, и в угоду этой потребности анонимное собрание «Писем», каким, очевидно, были «Любовные письма», стало обозначаться именем первого корреспондента. Перечисленные точки зрения дополняются еще одной наиболее радикальной (она принадлежит А. Н. Егунову и высказана в связи с настоящей работой), которая отрицает наличие одного автора: «Любовные письма» — сборник, объединяющий произведения разных авторов, живших в разное время, поскольку датировать во всей коллекции можно только два письма (I, 12 и I, 26).

Стилистическое единство сборника объясняется при таком подходе отбором писем, сделанным собирателем в соответствии со своим личным вкусом. Однако особенность писательской техники (о ней речь впереди) все же заставляет полагать, что перед нами не коллекция собирателя, а продукт единоличного творчества.

Время жизни Аристенета тоже определяется лишь по косвенным данным. Аристенет упоминает новый и старый Рим, т. е. наряду с Римом столицу Восточной Империи Константинополь (I, 26), о делении Империи на Западную и Восточную говорит как о само собой разумеющемся факте (I, 12) и, наконец, называет знаменитого пантомима Карамалла (I, 26), о котором латинский поэт V в. (род. в 430 г.) Сидоний Аполлинарий пишет как о своем современнике (23, 268). На позднюю эпоху указывает и то обстоятельство, что автор не нарушает закон Вильгельма Мейера, и даже отрывки, которые он заимствует из более ранних источников, соответственно ритмизируются.[4] Перечисленные хронологические приметы указывают в качестве нижней границы на середину V в., верхняя же не поддается точному определению, но, согласно господствующей точке зрения, Аристенет — современник императора Юстиниана (527—565), т. е. один из ранних представителей византийской литературы, еще очень тесно связанной с традициями предшествующего периода.

Избранный Аристенетом жанр фиктивного письма имел свою долгую историю. Литературное письмо — периферийный жанр того широкого литературного движения, которое носит название второй софистики (II в. н. э.). Идеи второй софистики, ставившей своей задачей воскресить прославлен-

---

[4] В. Мейер установил, что в греческой прозе с конца IV по XVI в. перед смысловой паузой между последним и предпоследним ударением помещалось не меньше двух неударных слогов. (W. M e y e r. Der accentuierte Satzschluss in der griechischen Prosa vom IV bis XVI Jahrhundert = Gesammelte Abhandlungen zur mittelalterlichen Rhytmik, II. Berlin, 1905).

ное прошлое Греции, в византийское время, конечно, давно выветрились, но ее ориентация на язык классической Греции и в известной мере ее претензии на руководящее место в образовании человека любой профессии стали прочной культурной традицией, и риторическая подготовка еще долго составляла неотъемлемую часть обучения. Сохранились и многие использованные второй софистикой жанры, в частности жанр литературного письма, который в ранневизантийское время продолжает существовать в переписке, если и не рассчитанной на публикацию, то во всяком случае предназначавшейся корреспондентами не только друг для друга (письма Либания, Василия Великого, Григория Назианзина и др.), и в фиктивных письмах Аристенета, а затем и Феофилакта Симокатты (VII в.). Таким образом, Аристенет продолжает традицию эпистолографов II—III вв. Алкифрона, Элиана и Филострата. В еще большей степени, чем у его предшественников, фикция письма у Аристенета нарушена, и дело в большинстве случаев ограничивается упоминанием имени адресата и отправителя, вслед за чем следует маленькая новелла, экфраза (описание) или анекдот. Некоторые номера сборника, например, I, 10 и I, 15, не соблюдают даже главнейших формальных особенностей письма.

Традиционно также объединение писем по тематическому принципу, использование смысловых имен и ряд других черт, свойственных более ранней эпистолографии.

Связи Аристенета с древнегреческой литературой не ограничиваются этим. Отлично знакомый с античными поэтами и прозаиками, он не только заимствует у них мотивы и сюжеты, но выписывает целые пассажи, которые затем, как камешки мозаики, складывает в сюжетный узор, составляя письма из почерпнутых у различных авторов фраз, отдельных выражений и отрывков. Особенно широко Аристенет использует для этого Платона, Алкифрона, Лукиана, Филострата и авторов греческого романа.

Заимствование осуществлено в таком масштабе (даже в примечаниях нет возможности отметить его случаи сколько-нибудь полно),[5] что можно говорить о мозаическом методе в творчестве Аристенета как о главенствующем. Однако контаминирование различных источников не указывает на творческую ограниченность Аристенета, а является следствием чуждого нам эстетического принципа, унаследованного византийцами от древних греков.

Если литература нового времени ищет того, что в области художественных форм и способов выражения еще не применялось, то древняя — мерилом эстетической ценности признавала умение превзойти предшественника средствами его собственного искусства. Задачей писателя было вступить в соревнование с предшественником в рамках его жанра и техники; это

[5] Материал собран в диссертации. J. P i e t z k o. De Aristaeneti epistulis. Diss. Vratislaviae, MCMVII.

придавало греческой и римской литературе в известной мере застывший традиционный характер, а те редкие произведения, вроде «Фарсалий» Лукана или «Александры» Ликофрона, которые слишком решительно порывали с традицией, не находили последователей. Византийские писатели пошли по этому пути еще дальше, разрешая себе многочисленные текстуальные заимствования.[6] Подобные принципы мы находим не только у Аристенета, но и у других писателей юстиниановского времени, например в творчестве Агафия и поэтов его антологии, которые склеивали различные типы эпиграмматических шаблонов или текстуально заимствованные стихи предшественников,[7] прокламируя необходимость подражать древним.[8] Традиционализм в мировоззрении средневекового Запада с его почти религиозным почтением к традиции привел в области искусства к аналогичным явлениям.

Широко используя предшественников, античные и византийские писатели отнюдь не стремились скрыть свои источники. Указание на произведение, с которым тот или иной автор соревновался или которому он подражал, не только не умаляло значения его собственного труда, но содействовало правильной оценке, облегчая читающему суждение об его искусстве. Для того чтобы указать на свои оригиналы, существовали различные способы. Аристенет использует имена, заимствованные из них, выводит в качестве действующих лиц авторов, из которых он брал материал, или намекает на образец какой-нибудь реминисценцией.

В результате определенного сочетания фраз, выписанных из других авторов, у Аристенета складывалось смысловое и стилистическое целое, в котором можно различить черты, не присутствующие в оригинале. Иными словами, чужие слагаемые располагались так, что нередко получался новый эффект. Так, например, приводимый ниже отрывок составлен из фраз, заимствованных Аристенетом из «Картин» Филострата (I, 9 и I, 22). Поставленные в непосредственное соседство, они образуют текст (хотя каждый из его компонентов, взятый в отдельности, ничем не примечателен), свидетельствующий о своеобразном мироощущении, не отраженном в оригинале Аристенета.

Филоплатан (I, 3) рассказывает о том, как он с возлюбленной наблюдал в загородном саду птиц:[9]

---

[6] В древности было возможно воспроизвести в своем произведении чужую фразу или даже пассаж, но совершенно исключалось заимствование в тех масштабах, в каких это допускали средневековые авторы.

[7] Axel M a t t s s o n. Untersuchungen zur Epigrammsammlung des Agathias. Lund, 1942. Маттссон отмечает, что, несмотря на контаминирование, эпиграммы поэтов агафианского круга не были только подражанием, но обладали чертами оригинальности.

[8] Anthologia Palatina, IV, 3, ст. 115. («Представляется мудрым, — писал Агафий, — подражать древней литературе»).

[9] Чтобы облегчить сравнение отрывков, они, по возможности, даются в буквальном переводе.

Аристенет I, 3

[а] **Одна отдыхает на скале, давая покой то одной, то другой лапке, другая охлаждает перья, третья чистит, четвертая вытащила что-то из воды, пятая наклонила голову к земле, чтобы добыть себе что-нибудь оттуда.**

ὃ μὲν ἐπὶ πέτρας ἀναπαύει τὼ πόδε καθ' ἕνα, ὃ δὲ ψύχει τὸ πτερόν, ὃ δὲ ἐκκαθαίρει, ὃ δὲ ἧρέ τι ἐκ τοῦ ὕδατος, ὃ δὲ εἰς τὴν γῆν κατανένευκεν ἐπισιτίσασθαί τι ἐκεῖθεν.

[б] **Мы разговаривали о них вполголоса, чтобы они не улетели, и мы не нарушили этого зрелища.**

ἡμεῖς δὲ ὑφειμένῃ τῇ φωνῇ διελεγόμεθα περὶ τούτων, ὅπως μὴ ἀποπτῶνται καὶ διασκεδάσωμεν τῶν ὀρνίθων τὴν θέαν.

Филострат, «Картины» I, 9

Текст совпадает, за исключением нескольких мелочей: «ведь одна», «тащит» вместо «вытащила» и «свесила» вместо «склонила».

ὃ μὲν γὰρ ἐπὶ πέτρας ἀναπαύει τὼ πόδε καθ' ἕνα, ὃ δὲ ψύχει τὸ πτερόν, ὃ δὲ ἐκκαθαίρει, ὃ δὲ ἧρηκέ τι ἐκ τοῦ ὕδατος, ὃ δὲ εἰς τὴν γῆν ἀπονένευκεν ἐπισιτίσασθαί τι ἐκεῖθεν.

I, 22, 1

Сатир спит; давай о нем говорить вполголоса, чтобы он не проснулся и не прекратил это зрелище.

καθεύδει ὁ Σάτυρος καὶ ὑφειμένῃ τῇ φωνῇ περὶ αὐτοῦ λέγωμεν, μὴ ἐξεγείρηται καὶ διαλύσῃ τὰ ὁρώμενα.

В самом деле, описание «а» только протоколирует явления: одна птица чистит перья, другая отдыхает, третья ищет на земле корм и т. д. Присоединение отрывка «б», заимствованного из другого контекста, обогащает первый новым материалом, сообщением о бережном любовании природой: ведь посетители загородного сада стараются не шуметь, чтобы не спугнуть птиц и подольше наслаждаться их видом. В этой детали раскрывается ценность в глазах наблюдателей того, что они видят, и описание благодаря этой добавке превращается в рассказ о личном ощущении природы. Из двух принадлежащих Филострату отрывков Аристенет, таким образом, создает текст, который едва ли уже можно назвать текстом Филострата.

Другой пример: известное изменение вносит в описание этого же сада из I, 3, основанное на цитатах и реминисценциях (см. прим. к соответствующему месту I, 3), фраза: «Я сорвал лист, размял между пальцами и, поднеся к носу, долго вдыхал еще более сладостный аромат», так как сообщает традиционному тону отрывка свежий оттенок — индивидуально окрашенное переживание природы, хотя и эта фраза, быть может, не принадлежала Аристенету.[10]

Несколько слов о стилистической стороне контаминации. Отрывки, принадлежащие авторам, нередко резко отличающимся друг от друга манерой письма, объединяются в единое стилистическое целое, обладающее

---

[10] Сходная фраза «сорви тогда листья, потому что они пахнут» содержится в «Героике» Филострата (изд. Kaiser'a, стр. 131). J. P i e t z k o, ук. соч. стр. 51.

несомненными эстетическими достоинствами, целое, иллюзия которого столь сильна, что даже располагая перечнем заимствованных мест, читающий продолжает находиться под ее воздействием. I, 10, например, представляется стилистически единым, хотя письмо составлено из отрывков (большей или меньшей величины), заимствованных у таких непохожих друг на друга по стилю авторов, как Платон, Каллимах, Сапфо, Филострат и Ксенофонт Эфесский.

Открывающее книгу программное письмо соединяет по меньшей мере пять литературных манер: в нем спаяны фрагменты из Ахилла Татия, Филострата, Платона, Лукиана и Алкифрона. II, 1 — мозаика из Филострата, Платона, Лукиана и Алкифрона. Созданию единства содействовали стилистический такт и риторическая выучка автора, который умело располагал чужой материал и цементировал его собственным текстом. Трудно, однако, отдать себе отчет в том, какой пассаж или отдельная фраза принадлежат Аристенету и что выписано из чужих произведений, так как проделанное обследование заимствований нельзя считать окончательным, а иные из них и в дальнейшем невозможно будет выявить из-за того, что греческая литература дошла до нас фрагментарно и очень многое утрачено навсегда. Все же, выделив уже идентифицированное, мы получаем представление об индивидуальном стиле Аристенета. Аристенет был аттикистом, т. е. старался придерживаться классических норм греческого языка, как они отражены в литературе аттического периода (V—IV вв. до н. э.), и широко пользовался всем запасом риторических средств, рифмами (они всюду в переводе сохранены), антитезами, аллитерациями и пр., как это было принято в прозе его времени.

И на других путях Аристенет добивается обновления традиционного материала. Оперируя стереотипными характерами и ситуациями, он раскрывает их внутреннее содержание, т. е. обнажает психологическую подоплеку поступков и слов своих героев.

Примечательно, что это осуществлено в жанре, до Аристенета не ставившем себе подобных задач. Ведь предшествующая эпистолография интересовалась бытом, вещью, впечатляющей деталью, но не человеком. Человек изображался в литературе этого рода только в рамках условных шаблонов (исключение составляют «Письма» Филострата), поскольку материал брался главным образом из комедии, которая пользовалась ассортиментом типов или стоячих масок, как их принято называть, со строго регламентированными внешними чертами и внутренними качествами, например масками старика, влюбленного юноши, гетеры, продувного раба и т. д.

Способ, каким Аристенет вводит элементы психологизма в свой стандартный материал, не совсем обычен — это авторский комментарий.[11]

---

[11] В редких случаях, правда, шаблон маски обогащается индивидуальными чертами, например I, 11 и II, 14.

Древнегреческая литература фиксировала душевную ситуацию преимущественно в ее непосредственном проявлении, т. е. в поступках и разного рода словесных формах самораскрытия личности. У некоторых представителей позднегреческой литературы спорадически встречается уже и другая форма раскрытия психологических состояний — авторское пояснение. Такого рода комментарий можно найти и у тех писателей, кого Аристенет прилежно читал и использовал (Гелиодор, Филострат, Ахилл Татий), но предшественники Аристенета применяли его в меньших пределах, чем он. В качестве творческого принципа авторский комментарий, конечно углубленный и усовершенствованный сравнительно с древностью, — достижение литературы новейшего времени, где он составляет один из важных способов раскрытия сущности изображаемых явлений (например, у Л. Толстого или М. Пруста). Древние писатели, у которых авторский комментарий встречается, отражают стадию возникновения этого приема, когда употребление его еще ограничено, а наблюдения над внутренней жизнью человека сравнительно элементарны.

Прежде чем перейти к примерам авторского комментария у Аристенета, обратимся к его предшественникам. Вот как толкуется изображаемое в «Картинах» Филострата: «Погляди на Фемистокла: выражением лица он похож на оратора, но в глазах видна растерянность, *так как говорит он на языке, которым недавно овладел*» (II, 31, 2).

Для Гелиодора характернее комментарий гномического типа, вроде следующего: «Потеряв стольких друзей, они больше ликовали, захватив убийцу живьем, чем горевали об утрате близких. *Так деньги бывают дороже души для разбойников, и то, что именуется родством и дружбой, определяется одной наживой*»[12] (I, 32).

Теперь можно обратиться к Аристенету: «Фригий угадал намерение девы, всей душой преданной родному городу, понял, что она старается примирить миунтян с милетянами, и милостиво согласился исполнить желание любимой, любовью укрепив мир для ее сограждан прочнее, чем если б торжественно заключил с ними союз. *Ведь человек, когда ему хорошо, склонен к примирению со всеми, ибо счастье тушит гнев и предает забвению обиды*» (I, 15).

Далее: «Панакий продолжал громко кричать, упрекая Поликла, *как в раздражении может упрекать человек, которого вместо врача хотят сделать сводником и заставить принять участие в совращении собственной жены, хотя об этом прямо и не говорится*» (I, 13).

Или: «Затем прелестно залилась румянцем, застыдившись, опустила голову, и то играла бахромой накидки, то вертела концы пояса, то чертила ногой по полу (*так ведут себя люди в смущении*) и, наконец, сказала...»[13] (I, 15).

---

[12] Гелиодор. Эфиопика. Пер. под ред. А. Н. Егунова, 1932.
[13] См. также: I ,4; I, 22 (два примера); II, 14; II, 18.

Авторский комментарий не только психологически объясняет ситуацию или явление, но нередко дает и обобщение, распространяющееся на сферу человеческой психики вообще.[14]

На фоне современного Аристенету византийского искусства своеобразно должна была восприниматься и его попытка возвратиться к античной любовной тематике.

В самом деле, сформулированный юстиниановской эпохой спиритуалистический идеал, отказавшись от античного монизма духа и плоти, объявлял все чувственное греховным и не имеющим права на существование. Телесность человека в пространственных искусствах и в литературе дематериализуется, подавляется, и тело выступает только в подсобной роли вместилища духа.

В связи с этим любовная тема в тех редких случаях, когда она вообще попадает в литературу, как например у поэтов агафианского круга, претерпевает решительную духовно-аскетическую метаморфозу, и любовь воспринимается вне форм материальной реализации; плотская же любовь, по характерному выражению Агафия, kakóv — зло.[15] В этой обстановке традиционный материал Аристенета переставал звучать традиционно, и то, что в древности ощущалось как ординарное и, вероятно, немного надоевшее, получило новую жизнь. Заимствованные из древней литературы сюжеты и мотивы, все эти рассказы о домогающихся любви юношах, веселых уличных знакомствах, брошенных своими любимыми девушках, капризных гетерах и утонченных пикниках влюбленных приобрели свежесть необычности, необычным и вызывающим было и утверждение чувственного античного эроса.

Отношение к «Письмам» резко менялось в веках. Современные и позднейшие византийские читатели отнеслись к ним равнодушно, доказательством чего является наличие одной только рукописи Аристенета, ныне хранящейся в Вене (Philologus Graecus, 310) и полное забвение его имени: оно не упоминается ни у одного византийского автора. Малая популярность Аристенета у современников и ближайших потомков объясняется, возможно, античной вольностью его сюжетов, шедшей вразрез с представлениями христианской морали, т. е. чуждым для византийцев уклоном его

---

[14] Соблазнительно от примитивных примеров авторского комментария перейти к его образцам, заимствованным из романа, возникшего более десяти веков спустя, чтобы наглядно предстали исходные и завершающие моменты пути. Все три примера почерпнуты из «Войны и мира» Л. Толстого и цитируются по изд. «Война и мир», т. 1—2, ОГИЗ, 1947: «Княжна улыбнулась, *как улыбаются люди, которые думают, что знают дело больше, чем те, с кем разговаривают*» (стр. 81).

«Наконец, он подошел к Морио. Разговор показался ему интересен, и он остановился, ожидая случая высказать свои мысли, *как это любят молодые* (стр. 14)».

« — Это офицер, ваше благородие, окровянил, — отвечал солдат-артиллерист, обтирая кровь рукавом шинели, и *как будто извиняясь за нечистоту, в которой находилось орудие* (стр. 213)».

[15] Anthologia Palatina, X, 68.

творчества. Однако отсутствие внимания к Аристенету впоследствии, особенно в период возрождения интереса к античной культуре в XI—XII вв., остается загадкой.

Новое время открывает Аристенета: в 1566 г. публикуется текст оригинала, а вскоре два перевода — латинский в 1595 г. и два года спустя — французский (Cyre Foucault). С тех пор «Письма» много раз служили предметом переработки и в XVII и XVIII вв. были очень популярны, пока выработанный Винкельманом в его знаменитой «Истории искусства древности» греческий идеал (Аристенета тогда относили к более ранней эпохе) не развенчал позднегреческую культуру. В наше время, когда полемическое отношение к Аристенету, обусловленное религиозно-этическими предрассудками, литературной модой или научной догмой, сменилось трезвым историческим подходом, «Любовные письма» заняли подобающее им место как своеобразный памятник ранневизантийской культуры и ценный источник утраченного вместе с оригиналами Аристенета античного материала.

2

С подлинным Евматием русский читатель знакомится впервые, хотя уже гораздо раньше знал его в маскарадном костюме переделок. В 1769 г. роман появился в Москве анонимно под заглавием «Любовь Исмены и Исмениаса»; оригиналом для него послужила книга «Les Amours d'Isméne et d'Ismenias» (1743 г.), представлявшая собой не столько перевод греческого подлинника, сколько салонную перелицовку, принадлежавшую перу французского писателя Бошана. Переделки, которым роман подвергся, коренным образом изменив его, сообщили этому затейливому и необычному произведению новый облик во вкусе тогдашней французской моды.

Кроме этого галантного варианта «Повести», в 1782 г. было опубликовано ее краткое изложение, сделанное ранее Сумароковым на основе бошановского перевода. В сжатом конспекте Сумарокова, занимающем всего десять страниц, Евматий, естественно, мало похож на себя.[16]

В византийскую эпоху роман был весьма популярен, судя по большому числу рукописей «Повести» (насчитывается 23 списка), но при этом несомненном интересе к творчеству Евматия традиция не сохранила никаких сведений о его личности и времени жизни.

Рукописи даже называют его по-разному — Евстафием (в подавляющем большинстве случаев), Евматием и Аматием (один раз), Паремволитом или Макремволитом и не единодушны при перечислении его титулов и сана.

---

[16] См.: А. Н. Егунов. «Исмений и Исмена», греческий роман Сумарокова. Сб.: Международные связи русской литературы. М.—Л., 1963, стр. 135—160.

Какое из двух написаний имени (Аматий — явное искажение позднейшей рукописи) более правильно, трудно сказать; вероятно, Евматий, поскольку это очень редкое имя, вдобавок не ассоциировавшееся с каким-нибудь известным носителем, из-за своей необычности могло быть впоследствии заменено распространенным именем Евстафий, связывавшемся к тому же с таким прославленным писателем и мыслителем, как Евстафий Фессалоникийский.

Такое предположение подтверждается наличием варианта «Евматий» в древнейшем и надежном Ватиканском кодексе. Паремволит, как принято считать, — искаженная форма встречающегося в Византии прозвища Макремволит, что значит — «с большого рынка». Но ни об Евматии, ни об Евстафии в равной мере ничего неизвестно, так что пути для отождествления автора романа с каким бы то ни было исторически засвидетельствованным его тезкой закрыты.[17]

Не лучше дело обстоит и с вычитыванием хронологии из текста: условно античный сюжет романа не дает для этого материала.

За все время была сделана единственная попытка, не увенчавшаяся, правда, успехом, привлечь текст для датировки (подробнее см. прим. 7 к кн. IV). В этих целях неоднократно использовалось другое, приписывавшееся Евматию произведение, — «Загадки», содержащее, как одно время казалось, материал для хронологических заключений. Но и это не могло дать результатов, поскольку ничем нельзя подтвердить идентичность автора «Загадок» и романа: надписания рукописей «Загадок» скорее свидетельствуют об обратном.[18]

Отсутствие свидетельств о Евматии и невозможность найти в тексте опору для хронологических выводов послужили почвой неоправданных догадок и гипотез. Достаточно сказать, что роман датировали VII, IX—X, XII и XIII вв. Большинство ученых относит его к XII в., и эта точка зрения получила наиболее полное обоснование в известном справочнике К. Крумбахера. Но главный аргумент Крумбахера — признание идентичности автора романа и корреспондента юриста и поэта XII в. Феодора Вальсамола, не подкрепленный ничем, кроме совпадения имен, не может быть признан убедительным.[19]

---

[17] Гипотеза Гейзенберга (A. Heisenberg. Eusthatios, Rhein. Museum, 58, 1903, стр. 427 сл.), отожествлявшего автора романа с Евстафием Фессалоникийским, совершенно бездоказательна.

[18] Автор «Загадок» только в надписании одной — и при этом плохой рукописи — назван Евстафием Макремволитом, обычно он именуется просто Макремволитом.

[19] K. Krumbacher. Geschichte der byzantinischen Literatur. München, 1897, стр. 764 сл. Уже после завершения своей статьи автор благодаря любезности А. П. Каждана познакомился с материалом, позволившим ему разделить принятую датировку романа (XII в.). К сожалению, это не смогло найти отражения в работе, и ряд вопросов поэтому остался незатронутым.

Евматий, как и Аристенет, широко использует античный материал, но вносит в него не отдельные коррективы, а создает новую, специфически византийскую атмосферу произведения в целом.

«Повесть об Исминии и Исмине» находится в тесной зависимости от романа Ахилла Татия «Левкиппа и Клитофонт» (II в.). Евматий повторяет сюжет послужившего ему образцом романа с его ситуациями и мотивами. Встреча в гостеприимном доме, любовь, тайное общение за пиром, свидания в саду, бегство с помощью друга, разлука, обнаружение героем своей любимой в рабстве, любовные преследования героя его госпожой, освобождение с помощью жреца, испытание девственности героини, — все это почерпнуто из Ахилла Татия. Особенно близок Евматий к своей модели в первых семи книгах романа, где почти не отступает от нее. Но связь обоих произведений не ограничивается областью сюжета. Евматий подражает стилю и языку Ахилла Татия, и у него неоднократно встречаются как лексические и фразеологические заимствования из «Левкиппы и Клитофонта», так и другие особенности художественной техники Ахилла Татия. Так как они не только воспроизведены, но развиты и доведены до крайней степени, в результате чего роман Евматия выделяется своей экстравагантностью даже на причудливом фоне византийской прозы, известный исследователь греческого романа Эрвин Роде считал «Повесть об Исминии и Исмине» карикатурой на «Левкиппу и Клитофонта», а Евматия — сошедшим с ума Ахиллом Татием. Эта точка зрения в значительной мере, вероятно, благодаря афористическому остроумию определения прочно вошла в науку. Однако Евматий не столько обезумевший, сколько, заменяя ставший привычным эпитет, на несколько веков постаревший Ахилл Татий, и его роман — византийский вариант «Левкиппы и Клитофонта», написанный исходя из новых эстетических запросов для нового круга читателей.

Только византийское Возрождение (IX—XII вв.) широко открыло двери античной языческой тематике. До этого времени — а в известной мере и в это время — использование античной литературы в какой бы то ни было форме, т. е. чтение, переписывание памятников или их переделка, нуждалось в оправдании, поскольку эта литература была всем своим духом враждебна византинизму и не согласовалась с его религиозно-нравственными представлениями. Нам известны случаи, когда чрезмерное увлечение древними влекло за собой опасные последствия — обвинение в язычестве.

Действительность в понимании средневекового человека — символ трансцедентного мира. Каждое явление, каждый предмет еще и нечто иное, чем оно непосредственно кажется, — знак и отображение чего-то более значительного, стоящего за ним, носитель второго главного смысла. От любого самого незначительного объекта тянулись нити символического контакта, связывавшие его с миром непреходящих, подлинных ценностей. Так, например, грецкий орех символизировал Христа: ядро — его божественную

природу, мягкая внешняя оболочка — человеческую, а твердая, находящаяся посредине, — крест. Элементы чувственного мира представлялись лишь несовершенной моделью высшей реальности. Белые и красные розы среди терний не только цветущий куст, но и земное отображение богородицы и мучеников, пальма и феникс — победа над врагом, источник, к которому устремляется олень, чтобы напиться, — воплощение души, ищущей бога, и иллюстрация библейского стиха «душа моя жаждет бога». Такое мировосприятие освящало земную действительность, позволяло принять ее, так как символизм сообщал ей значительность и наполнял смыслом, без которого она была бы лишена всякой ценности.[20]

Символический подход к явлениям внешнего мира сказался и на отношении к языческой литературе, которая на этом основании могла быть включена в орбиту средневековой культуры: как всякий иной реальный объект, она расценивалась как ключ к скрытому смыслу. Поэтому ее памятники толковались аллегорически, что спасло многие из них от уничтожения или забвения. Кроме этого пути, существовали и иные близкие ему способы христианизации античного наследия.

Так как нас в первую очередь интересует отношение византийцев к языческому любовному роману, остановимся на том, какими путями эти произведения, резко чуждые византийскому средневековью, были введены в его культурный обиход. Прежде всего в соответствии с присущим средневековому сознанию символизмом греческие романы истолковывались аллегорически. Филипп Философ (век не установлен) объясняет роман Гелиодора «Эфиопика» так: Хариклия, его героиня, — символ души и разума; ее отец, Харикл — символ практического действия; камень пантарб, играющий важную роль в сюжете, — страх божий. Введение к Гелиодору «Protheoria» Иоанна Евгеника (XV в.) тоже посвящено поискам скрытого смысла романа и раскрывает его аллегорическое значение.

Другой способ оправдать произведения авторов любовных романов, erotici scriptores, — создание легенд, приписывающих им не только христианское вероисповедание, но и высокий церковный сан. Такие биографии получили Ахилл Татий, посвященный легендой в епископы, и Гелиодор, наделенный епископской кафедрой фессалийского города Трикки.

Были распространены и охранные грамоты иного характера. Так, например, Максим Исповедник (VII в.) берет из Гелиодора (может быть, через посредство бывших тогда в ходу сборников изречений) ряд назидательных сентенций для своего сочинения «О любви» (в трансцедентальном понимании этого слова), комментарий псевдо-Евстафия к «Гексамерону», т. е. к библейской космогонии, неоднократно заимствует свои примеры из

---

[20] Эта особенность средневекового сознания исчерпывающе освещена в известной книге: J. Huizinga. Herbst des Mittelalters. Stuttgart, 1961.

романа Ахилла Татия, а под 5 ноября в «Acta Sanctorum», собрании житий, разнесенных по календарю в соответствии с днем того или иного святого, помещено житие, составленное из реминисценций двух наиболее популярных в Византии греческих романов, «Эфиопики» Гелиодора и «Левкиппы и Клитофонта» Ахилла Татия. В Эмесе (родина Гелиодора) жил богатый человек, рассказывает это житие, по имени Клитофонт (имя героя Ахилла Татия); его жена Глевкиппа, или Левкиппа (так звали героиню Ахилла Татия), дочь Мемнона (предок героини «Эфиопики» Хариклии) была бесплодна, и муж постоянно пенял ей за это. Однажды некий монах Онуфрий, собирая милостыню, пришел в дом Клитофонта; Левкиппа под влиянием беседы с ним приняла христианство, вскоре забеременела и родила сына Галактиона. Когда он вырос, отец решил женить юношу на язычнице Епистиме. После заключения этого брака она приняла христианство, вместе с мужем раздала все имущество и решила спасаться. Во время гонений на христиан воины нашли Галактиона и Епистиму, подвизавшихся на горе Синай, и обезглавили их.

Благодаря рассмотренным приемам адаптации греческий любовный роман утвердился в Византии и пользовался популярностью, как это видно не только по значительному количеству средневековых рукописей, но и по тому, что он служил предметом литературно-критического рассмотрения (у Фотия в IX в. и Пселла в XI в.), давал в XII в. материал для историко-технических руководств, прозаических и поэтических подражаний (Евматий, Феодор Продром, Никита Евгениан, Константин Манасса) и более поздних народно-греческих стихотворных реплик (анонимные романы «Каллимах и Хрисороя», «Бельтандр и Хрисанца», «Ливистр и Родамна» и др.).

Однако византийские писатели никогда не были слепыми копиистами, но, следуя античным образцам, вносили в оригиналы существенные изменения; в результате этого за внешней близостью к соответствующей древней модели мы находим произведения, часто очень далекие от лежащих в их основе. Это в полной мере относится и к роману Евматия, отклонения которого от своих языческих образцов весьма значительны.

При чтении «Повести» бросается в глаза, что еще в большей степени, чем это было в греческом романе, действие лишено определенности времени и места. События разворачиваются во времена некоей античности вообще, не поддающейся хронологическому определению, в придуманных, не существующих в реальности городах Еврикомиде, Авликомиде, Артикомиде и Дафниполе, с трудом отличаемых друг от друга даже по своим нарочито близко звучащим названиям. На этом фоне представлены еще более условные сравнительно с греческим романом фигуры: молодые влюбленные, Исминий и Исмина, их родители, друг Кратисфен и несколько второстепенных персонажей. Все они, даже главные герои, несмотря на волнующие их страсти, столь бестелесны и неиндивидуальны, столь абстрактны, что наво-

дят на мысль о нарочитости авторского рисунка. Это отсутствие интереса к личности как таковой видно и по ономастике Евматия: Исминий и Исмина названы одинаково, чтобы подчеркнуть тожественность идеи, которую они воплощают, дафнипольская чета и жрец вообще лишены имен, хотя занимают в сюжете видное место, имена отцов Родопы и Исмины звучат близко — Сострат и Сосфен, потому что выполняют назначение этикеток, обозначающих суммарные образы строгих отцов.

Ключ к пониманию подобного концепирования фигур и фона, а вместе с ними и романа в целом, дают описания картин, включенные в состав повествования. Первая представляет собой аллегорию Разума, Силы, Целомудрия и Закона,[21] вторая аллегорически изображает триумф любви, третья — аллегория времен года, понимаемая, как видно из дискуссии Исминия и Кратисфена, тоже как аллегория торжествующей любви. Примечательно, что все картины у Евматия, выражая главенствующую тенденцию средневекового искусства, — аллегории.

Далее. Герои Евматия своеобразно подходят к этим картинам: они рассматривают их не с эстетической точки зрения, не «любуются» ими, а принимаются истолковывать изображаемое в поисках скрытого смысла. Так последовательно Исминий и Кратисфен толкуют все три картины (II, 6; II, 11; IV, 18). Это рефлекс средневекового сознания, приученного искать в явлениях окружающей среды символы и аллегории, сознания, для которого прочесть произведение искусства значило разгадать за знаком его подлинный смысл. Этот принцип отчетливо сформулирован в одной из бесед Исминия с Кратисфеном по поводу увиденной картины: «Разгадал я твою загадку, мастер, постиг твой рассказ, окунулся в самые твои мысли; и если ты — Сфинкс, Эдип — я; если, словно с жертвенника и треножника Пифии, ты вещаешь темные слова, я — твой прислужник и толкователь твоих загадок» (II, 8).

Средневековое произведение действительно было Сфинксом, ждущим Эдипа: его авторы аллегорией зашифровывали свою мысль, а читатели или зрители ее расшифровывали. Поэтому, чтобы приблизиться к пониманию романа Евматия, на него надо взглянуть с той точки зрения, на которую он был рассчитан автором, т. е. попытаться его дешифровать. В расчете на это Евматий очищает традиционный сюжет греческого романа от последних следов конкретного и индивидуального, чтобы тем отчетливее просвечивал его скрытый смысл: местности и люди похожи на формулы или символы, а сюжет складывается в прозрачную аллегорию триумфа любви над грубой силой и над ограниченностью неспособного возвыситься до ее понимания практического разума. При этом символическими отвлеченными носителями идеи любви являются Исминий и Исмина, грубая

---

[21] В тексте эти понятия переданы несколько иначе, существительными женского рода, так как аллегорически представлены в виде четырех дев.

враждебная сила воплощена в образах эфиопов, соблазнителей, дафнипольских воинов и т. д., а слепота практического разума, объективно враждебного любви, в фигурах родителей молодых людей и их друга Кратисфена. Любовь, по мысли автора, последовательно посрамляет и опрокидывает опасения, расчеты и противодействие практического рассудка и торжествует над своими прямыми врагами.

Наряду с аллегорическими образами, типа отмеченных выше, у Евматия действуют персонифицированные понятия (Целомудрие, например), а также традиционные мифологические фигуры, обретшие прозрачную бестелесность символа и только именами напоминающие своих отдаленных предков, — Посейдон, Амфитрита и в известном смысле Эрот.

Сложное и продуманное в деталях символическое здание романа поддерживается вставными аллегорическими картинами. Триумф Эрота и описание двенадцати месяцев дублируют основную мысль, описание четырех дев, воплощающих Силу, Целомудрие, Разум и Закон, вводит в круг интересов романа. В самом деле, задача Евматия на множестве примеров показать, что разум, сила, целомудрие (в смысле презрения к любви) и закон равно беспомощны перед лицом любви; в виде прелюдии он помещает свою первую экфразу, где эти понятия, которым суждено будет занять такое важное место в идейном контексте романа, представлены в символических образах дев.

Описания картин, предметов искусства и разного рода парадоксографические экскурсы — обычная составная часть греческого романа. Но у Евматия и эта традиционная черта его поэтики преломляется на средневековый лад. Начать с того, что описания приобретают характерный для средневековой литературы непропорционально большой объем, в значительной мере вытесняя действие. Что еще показательнее, они носят аллегорический характер, перекликающийся в силу присущего средневековому сознанию символизма с аллегорическим смыслом произведения, подготовляя читающего к его восприятию. Даже в романах Лонга и Ахилла Татия, где экфраза связана с содержанием и мотивирует рассказ (что для греческого романа нетипично), она лишена аллегоризма. С другой стороны, характерно, что обычная для греческого романа обособленная от сюжета экфраза встречается у Евматия только однажды (экфраза сада и водоема в I кн.).

Евматий вносит свои поправки и в стандартный сюжет греческого романа. Схема его — скитания, приключения и воссоединение любящих, переживших полагающиеся по шаблону приключения (плен, рабство, кораблекрушение, любовные преследования), правда, соблюдена, но составляющее его главную особенность калейдоскопическое разнообразие действия у Евматия исчезло. О самых увлекательных и сюжетно важных приключениях (например, о спасении Исмины дельфином и ее судьбе вплоть до встречи с Исминием) сообщается лишь конспективно, и количество этих приключений заметно сокращено; достаточно сказать, что

собственно действие начинается только с седьмой книги, когда герои бегут в Сирию.

Своим объемом роман обязан не изложению событий, а наличием в повествовании обширных описаний и непрестанно возникающим повторением одинаковых или сходных сюжетных кусков. Повторяются уже описанные ситуации, которые многократно при тех же участниках возникают в реальности (сцены свиданий в саду, любовные сцены за пиром, сцены в спальне Исмины, в спальне Исминия и Кратисфена), оживают вновь при рассказе о них другому лицу[22] или происходят во сне (Исминий неоднократно рассказывает разным лицам свои приключения и видит пережитое во сне), либо дублируются новыми участниками (рассказ о вестничестве дафнипольского господина во всех подробностях соответствует рассказу о вестничестве Исминия, история отношений к Исминию Исмины, Родопы и дафнипольской госпожи внешне складывается одинаково).

Повторение превращается у Евматия в метод, и одни и те же сцены и ситуации переходят со страницы на страницу: мысль, чтобы обрести убедительность, разлагается на множество одинаковых или однотипных ее воплощений. Если одной формой утверждения общей идеи в средневековом искусстве был аллегоризм, то плюральность, нанизывание сходного или одинакового, служила той же цели. Чтобы передать определенный смысл, средневековый писатель и художник давал его в обличии соответствующей аллегории либо добивался этого путем многократного повторения или перечисления однородных представлений или сцен. С повторениями Евматия можно сравнить связанные со средневековыми традициями системы перечислений в романе Рабле или на полотнах Брейгеля, где скопление сходного или однородного выполняло роль обобщения. Таково назначение длинного каталога различных кушаний (Рабле), сценок, изображающих всевозможные виды детских игр на картине Брейгеля «Детские игры», или фигур на его рисунке «Надежда», воплощающих многообразные ее проявления (узники; рыболов, ждущий удачи; человек, тушащий пожар; потерпевший кораблекрушение и т. д.).

Обе эти формы художественного мышления (аллегория и плюральность) представлены в романе, и, для того чтобы дать обобщение, Евматий либо рисует аллегорию, либо многократным повторением старается избавить явление от оболочки индивидуального и неповторимого, переводя его таким путем в разряд общего.

Вся его книга построена как бы по принципу зеркал, бесконечно воспроизводящих одни и те же картины, отражая их то в реальном действии, то в рассказе о нем, то в сновидениях; в этом смысле показательно и при-

---

[22] Конспективное изложение имевших место событий характерно и для греческого романа, но там оно используется в границах, не останавливающих на себе внимания, и часто объясняется потребностью вызвать в памяти читающего пестрые и запутанные события. С такой же целью оно применялось и в историографии.

страстие автора к глаголу ἐνοπτρίζω «показывать в зеркале».[23] Благодаря такому способу ведения рассказа создается атмосфера, в которой реальность переходит в иллюзию и иллюзия в реальность (например, сон III книги в V реализуется, сон из IV книги пересказывается в VII, в той же книге снова снится, а в IX материализуется), или высокая реальность повторяется в искажении кривого зеркала (вестничество Исминия в окарикатуренном виде вторично возникает в вестничестве его хозяина, а история влюбленности Исмины в низком плане повторяется в эпизодах с Родопой и дафнипольской госпожой), тоже, но теперь в этическом плане, стирая грани между подлинным и мнимым.

Повторение пронизывает весь роман. Подобно эпизодам, повторяются фразы, входящие в эти эпизоды: «Она касается моих ног, крепко их держит, обнимает, стискивает, украдкой целует и поцелуи скрывает, а под конец щекочет ногтями» (I, 12). «Она омывает мне ноги, приникает к ним, стискивает пальцы, целует и, целуя, поцелуи скрывает, а под конец щекочет мне подошвы» (I, 14). «Если приникнет к моим стопам и, приникнув, стиснет их и, стиснув, поцелует и, целу́я, будет скрывать поцелуи, я тоже приникну к ее стопам и стисну их и, стискивая, поцелую, но таить поцелуи не стану» (III, 4).

Аналогично повторяются и другие пассажи: «Настоящее воинство окружает отрока — города, пестрый сонм мужей, жен, старцев, старух, отроков, дев» (II, 9). «...я вижу, как в покой входит неисчислимая толпа, вереница мужей, жен, отроков, дев» (III, 1).

Повторяются также отдельные слова: «...теперь вместе с толпой своих товарищей по *рабству* занимаю место за столом *рабов*, несу *рабскую* службу, полностью *раб*, полностью в *рабстве*, полностью прикидываюсь *рабом*, полностью, о Зевс и прочие боги, расстался со своим вестническим достоинством и полностью со свободой» (VIII, 15).

«*Необычны* их лица, *необычны* морщины, *необычен* облик, *необычен* цвет кожи» (II, 9).

Широко применяемый Евматием прием повторения составляет основную характеристику поэзии: в стихотворных жанрах многократно используются одни и те же слова, стихи и более крупные единицы членения, создавая особую поэтическую атмосферу. Наряду с повторениями, приближающими его дикцию к поэтической, Евматий применяет другие способы, украшающие прозу и роднящие ее с поэзией, рифмы,[24] тропы, антитезы,

---

[23] См., например, III, 5; IV, 4, 7, 17; V, 11, 12; VI, 6.

Образ зеркала встречается и в романе Ахилла Татия («ведь глаза отображают, как в зеркале, образы тел», I, 9) и, возможно, наряду с множеством других полюбившихся Евматию фраз, образов и метафор был заимствован из «Левкиппы и Клитофонта», но, как обычно, переосмыслен и развит.

[24] Византийская светская поэзия, подобно античной поэзии, не знала рифмы и только с XV в. заимствовала ее с Запада. В церковной гимнической поэзии существовали асо-

ритмику и т. д. Ограничимся для иллюстрации несколькими примерами: «Этот премудрый кормчий и жрец, приносящий неслыханные жертвы, *взял* девушку, морские волны глазами *объял*: „Вот тебе, владыка Посейдон, жертва и искупление“, — *сказал* (только бы ты, моя душа, не вырвалась за ограду зубов!) (заимствование из Гомера, — *С. П.*) и бросает девушку в воду» (VII, 15).

«Зверь был моим спасителем, но того, кто был мне *рабом*, я считала *врагом*, содрогалась перед спасителем, врага любила и обнимала как спасителя. Так как мой спаситель *теперь — зверь*, я жаждала от него уйти, но не доверяла волнам, и меня угнетали сомнения, валы и зверь» (XI, 13).

Или: «Четыре девы изображены на ограде. Голова первой блистательно венцом украшена. Камни на венце сверкают, пламенем искрятся, сияние источают, влаги полны. Взглянув, ты сказал бы, что камень соединил в себе несоединимое — воду и пламя; то и другое сладостно, то и другое прекрасно. Пламя полыхает багрянцем, вода сверкает молниями — столь правдиво передал мастер природу драгоценных камней» (II, 2).

Приподнятая необычность стиля создается еще и при помощи широкого введения поэтических цитат. С одной стороны, это древние — Гомер, Гесиод, трагики, Аристофан и т. д., с другой, идет смелая христианизация античного сюжета романа, в который вторгаются стихи из библейских книг. Если мы привыкли видеть в произведениях средневекового искусства библейские или античные фигуры в современных художнику одеждах, на фоне соответствующих зданий или интерьеров, то анахронизм иного рода — цитаты из Ветхого Завета в устах древних греков — звучат причудливо.

Этой же цели поэтизации служит энигматичность (загадочность) стиля Евматия. Сплошь и рядом отдельные фразы представляют собой настоящие загадки, требующие поисков скрытого смысла: в загадке, как в аллегории, за тем, что лежит на поверхности, прячется нечто иное, ждущее раскрытия, за одним образом стоит другой, подразумевающийся, который для правильного решения надо подставить, как подставляют цифры в алгебраическую формулу. «Девушка, как обычно, смешивает вино, а я не как обычно пью и, хотя пью, не пью и, не дотрагиваясь до питья, пью любовь» (VI, 1).

Разгадка такова: влюбленный касается губами следов губ любимой, оставшихся на краях винной чаши. Сопоставление с этой загадкой Евматия подлинной греческой загадки обнаружит их родство еще нагляднее: «Всякий, видя меня, не видит, и не видя, видит» (сон).[25]

По принципу загадки строится и другая фраза Евматия: «Не срезай до срока колосьев, не срывай розу, пока она не раскрылась, не тронь

нансы (их источником была риторическая проза), которые, однако, нельзя отожествлять с рифмой в современном понимании.

[25] Anthologia Palatina, XIV, 110.

зеленого винограда, чтобы вместо нектара не получить уксуса. Ты срежешь колос, но когда нива зазолотится; сорвешь розу, но когда она раскроется; соберешь виноград, но когда увидишь, что гроздья потемнели» (V, 17), где девушка скрывается в образе колоса, розы и зеленого винограда.

Аналогичная структурная модель (перенос значения) лежит в основе большинства загадок. Возьмем для сравнения несколько русских примеров: «Шла свинья из бо́лота вся исколота», где свинья обозначает наперсток,[26] или «лезу по железу на мягкую гору», с разгадкой — садиться на лошадь (железо — стремя, мягкая гора — лошадь).[27]

Загадками несколько иного рода, напоминающими темную ученую поэзию мифологических иносказаний, является фраза типа следующей: «Она в этот миг кусает мой рот, все свои зубы зарывает в него, а у меня в душе вырастают Эроты свирепее гигантов» (IV кн.), где Исмина уподоблена Ясону, засевающему землю зубами дракона, а душа Исминия — земле, из которой вырастают вместо страшных гигантов мифа Эроты, т. е. любовь. (Подробнее миф, легший в основу загадки, изложен в прим. 12 к IV книге).

Встречаются случаи, когда к сложной загадке приложен ответ: «Тут же не виданный дотоле огонь, жрец и алтарь; огонь — это море, волны — жертвенник, прекрасный кормчий, послушный морскому обычаю, — жрец, а жертва (о мое сердце, не разорвись от печали!) — дева Исмина» (VII, 12).

Загадки в романе не нововведение Евматия; спорадически они появляются у греческих erotici scriptores,[28] и Евматий только усваивает и развивает этот в зародыше содержащийся у предшественников стилистический прием, так как он органично согласуется с символико-аллегорической структурой его романа.

Как мы видели, Евматий использует многообразные способы, чтобы придать своей прозе приподнятый, поэтический характер. Эта особенность стиля связана с общим замыслом романа, где изображаемое только система знаков скрытой за ним более полной и важной, по мысли автора, правды, что наполняет это изображаемое повышенным эстетически-этическим значением и требует соответствующего высокого словесного оформления.

Рассчитанный на аллегорическое понимание роман воздействовал на читателя и непосредственно своим первым смыслом, т. е. занимательной

---

[26] И. Сахаров. Сказания русского народа, т. I. СПб., 1841, раздел «Загадки», № 14.

[27] Там же, № 151; ср. № 48 — «Стоит Ерофейка подпоясан коротенько» (веник).

[28] У Гелиодора встречается стилизация энигматической речи при передаче пророчества (типа I, 18), у Ахилла Татия загадкой, известной по Палатинской Антологии (XIV, 34), начинается роман.

интригой, неожиданным поворотом действия, пестротой событий. Наконец, отдельные его детали могли приобретать животрепещущий смысл для современников. Эти интереснейшие вопросы идейного подтекста романа — задача, которая еще ждет исследования.[29] Теперь можно только сказать, что дозволенная, законом освещенная и идеализированная любовь друг к другу будущих супругов несомненно привлекала воображение, уводя от житейских будней, далеких от мира чувств, изображенных Евматием.

То, что в любовных сценах автор позволяет себе свободу, не выходит за рамки парадоксов средневековой логики. Ведь по наивным средневековым понятиям дозволены были не всегда достойные пути к достойной цели, например, можно было фальсифицировать или похищать реликвии для прославления какого-нибудь монастыря, сознательно преувеличивать число обращенных в христианскую веру или павших в сражении врагов. Введение Евматием подчас рискованных ситуаций основано на таком же принципе: это средство для достижения назидательной цели, подчеркивающее верность друг другу и главное добродетельность его героев, неизменно выходящих победителями из всех искушений и сохраняющих целомудрие до законоположенного момента брачного торжества. Выбор этих ситуаций несомненно обусловила привычка византийского сознания к крайностям житийной литературы, где соблазны, страдания и нравственные подвиги были доведены до предела, почти граничащего с пародией. Достаточно сказать, что в качестве примера строгой добродетели в житиях встречается рассказ о том, как аскет, желая испытать свою твердость, целомудренно проводил ночь в постели с женщиной.

Наличие у автора высокой нравственной задачи подтверждается и заключительными словами романа: в перечне лиц, одобрящих роман, упомянуты «девственные и чистые», которые «возрадуются целомудрию».

В соответствии со стремлением средневекового человека во всем искать поучения, византийцы склонны были усматривать в античных романах прославление супружеской любви в отличие от других ее форм, не встречавшей возражений с точки зрения господствующей морали, и считали их произведениями нравственными и дидактическими. Даже роман Ахилла Татия, один из наиболее легкомысленных, понимался подобным образом, свидетельством чего служит эпиграмма, принадлежащая патриарху Фотию (IX в.) или Льву Философу (IX—X вв.):

А если, друг, захочешь скромным быть и ты,
Нескромных эпизодов не касаясь здесь,
Усвоить надо главную романа мысль,
Что брак венец есть целомудренной любви.[30]

---

[29] См. примеч. 19.

[30] Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт. Пер. А.Б.Д.Е.М. под редакцией Б. Л. Богаевского. М., 1925, стр. 188.

Таково же, очевидно, было отношение и к средневековой интерпретации «Левкиппы и Клитофонта», т. е. к «Повести об Исминии и Исмине» Евматия, как можно судить по встречающимся в некоторых рукописях романа ямбах, отклике современных или позднейших византийских читателей на его книгу:

И песнопевец Соломон, как говорят,
Реченье мудрое в стихах напечатлел:
Законную супругу ты люби, дитя,
Пусть не смирит тебя страсть к женщине другой.[30]

---

[30] Перевод Г. Г. Шмакова



ПРИМЕЧАНИЯ К «ЛЮБОВНЫМ ПИСЬМАМ» АРИСТЕНЕТА

Перевод сделан по последнему изданию: Epistolographi Graeci recensuit recognovit Rudolphus Hercher. Parisiis, MDCCCLXXIII. Так как оно не удовлетворяет современным текстологическим принципам, перевод в ряде случаев опирается на рукописное чтение и конъектуры других издателей и исследователей памятника, часть которых (в частности, чтения Лески) почерпнута из списка разночтений, приведенных А. Лески (Albin Lesky) в приложении к его переводу Aristaenetos Erotische Briefe, Zürich, 1951).

Отклонения от издания Hercher'a оговорены в примечаниях, а их источники цитируются под следующими литерами:

A — Abresch.
B — Boissonade.
C — Cobet (по списку разночтений Лески).
H — Hercher.
L — Lesky (Aristaenetos Erotische Briefe, 1951).
M — Mercer.
N — Nissen (Byz. Zeit, 40, 1940).
P — Pauw.
R — Reiske.
S — Solmasius.
T — Tollins (по списку разночтений Лески).
V — Vindobonensis Phil. gr. 310.

КНИГА ПЕРВАЯ[1]

1

[1] Имена, встречающиеся в «Письмах», распадаются на три категории — традиционные для эпистолографии смысловые имена, имена, почерпнутые из источников отдельных писем, и, наконец, имена известных софистов. Филокалос — любитель красоты, Аристенет — хвалящий лучше всех или заслуживающий преимущественной похвалы.

[2] Лаида — распространенное среди гетер имя.

[3] Хариты — богини красоты и радости; их часто связывают с Афродитой.

Следующее затем описание женской красоты в значительной мере опирается на Алкифрона (IV, 11 и фрагм. 5); 15 стихотворение сборника анакреонтей дает представление, насколько шаблонны отдельные компоненты аристенетовского портрета Лаиды.

[4] Эроту здесь придан обычный эпитет его матери Афродиты.

[5] Кольцами кудри, как цвет гиацинта, ему закрутила.

(«Одиссея», VI, 231, пер. Жуковского).

Одиссея и в дальнейшем цитируется в пер. Жуковского.

---

[1] В примечаниях без ссылки на источник использованы все доступные переводчику комментарии к Аристенету.

[6] Эффектное, но несколько неожиданное противопоставление одетой и нагой красавицы восходит к диалогу Платона «Хармид» 154D, где о красивом юноше говорится: «Если он пожелает раздеться, тебе покажется, что у него совсем нет лица». В такой форме Аристенет повторяет его в I, 3.

[7] В Делосе только я — там, где алтарь Аполлонов воздвигнут,
Юную стройно-высокую пальму однажды заметил
(В храм же зашел, окруженный толпою сопутников верных,
Я по пути, на котором столь много мне встретилось бедствий).
Юную пальму заметив, я в сердце своем изумлен был
Долго: подобного ей благородного древа нигде не видал я.
Так и тебе я дивлюсь.

(«Одиссея», VI, 162 сл.).

[8] Красивые гетеры нередко служили моделью для изображения богинь. Афеней сообщает («Пирующие софисты», XIII 588e и 590f), что знаменитая афинская гетера Лаида служила моделью Апеллесу и другим живописцам и скульпторам, точно так же как Фрина.

[9] Кидонские яблоки — айва.

[10] Образ, вероятно, заимствован из сферы ремесленного производства — представление о сгибании предварительно размоченных в воде прутьев и дерева.

[11] Подразумевается пояс Афродиты, который, по представлению греков, сообщал носящему его любовные чары.

[12] Мом — божество, воплощающее насмешку и порицание.

[13] Имеется в виду миф, согласно которому Парис, приглашенный разрешить спор трех богинь — Афины, Геры и Афродиты, присудив награду красивейшей, признал победительницей Афродиту; за это богиня помогла ему завладеть Еленой.

[14] Намек на «Илиаду» (III, 154 сл.). Здесь и в дальнейшем Илиада цитируется по переводу Минского:

И, увидав Елену, к той башне идущую, старцы
Между собой обменялись словами крылатыми тихо:
«Нет, возмущаться нельзя, что троянцы и дети ахейцев
Из-за подобной жены бесконечные бедствия терпят —
Вправду, похожа она на бессмертных богинь своим видом...».

2

[1] Имена корреспондентов отсутствуют.

[2] «В их взгляде и улыбке» — переведено по V.

[3] См. прим. 3 к I, 1. По представлению греков, Харит было три.

[4] Аристенет дословно приводит в конце письма «Пир» Платона 217E

3

[1] Филоплатан — любитель платана. Антоком — тот, у кого волосы подобны цветам.

[2] Леймона — Луговая.

[3] «Одиссея», VII, 115.

[4] «Чтобы достать спелые грозди, забрался на дерево» — переведено по L.

[5] «Клянусь нимфами его вод» — переведено по P.

[6] См. прим. 6 к I, 1.

[7] Описание сада в соответствии с присущей Аристенету манерой письма складывается путем сочетания элементов, заимствованных из различных источников. Использованы: VII книга «Одиссеи», начало диалога Платона «Федр», «Картины» Филострата (I, 9), «Письма» Алкифрона (IV, 13).

[8] Мидийское дерево — лимонное дерево.

[9] Греки пили вино, разбавленное водой; вода для этого использовалась холодная или, как в нашем случае, горячая. Равная доля того и другого — необычно крепкая смесь.

[10] Phyllon — по-гречески значит лист.

[11] В имени Миртала улавливается намек на myrtos — мирт, myrton — миртовая ягода.

4

[1] Алопека — один из аттических демов.

[2] «Кто не торопится, не попадает в беду» — переведено по L.

[3] «Идем» — переведено по V.

[4] Текст безнадежно испорчен.

5

[1] Алкифрон и Лукиан, известные писатели II в. н. э., сочинения которых Аристенет широко использовал; на это он намекает, упоминая среди корреспондентов их имена (см. также: I, 22).

[2] В древности обманутый муж пользовался правом безнаказанно убить возлюбленного жены, застав его на месте преступления.

[3] Согласно обычаю, присутствующие на пиру гости уносили часть угощения с собой.

[4] Мотив одурачивания супруга, столь распространенный в европейской литературе, не характерен для литературы античной.

6

[1] Очевидно, девушка для разговора вызвала кормилицу на улицу; эта ситуация типична для комедии. Из комедии, надо думать, попало к Аристенету и характерное для этого жанра имя кормилицы Софрона.

[2] Клятва Артемидой, девственной богиней и покровительницей девушек, вполне естественна.

[3] Подразумевается факел Эрота, которым он вооружен наравне с луком и стрелами.

7

[1] Имена корреспондентов Киртион (kyrtē — верша) и Диктий (diktyon — невод) указывают, что действующие лица — рыбаки. Рыбак — традиционный для эпистолографии персонаж: целый раздел сборника писем Алкифрона занимали письма рыбаков.

[2] Еще один намек на профессию автора письма.

[3] Нереиды — морские нимфы.

[4] Гиматий — верхняя одежда.

8

[1] Оба имени намекают на занятия их носителей: Эхепол — владеющий жеребенком, Мелисипп — черный конь.

[2] Адонис — прекрасный возлюбленный Афродиты, божество, воплощающее расцвет и увядание растительности.

[3] «Не имеет отношения к Дионису» — поговорка, возникшая в древности, когда театральные представления в Аттике были прикреплены к празднествам Диониса, а сюжеты драм заимствовались из круга мифов, не связанных с Дионисом.

[4] В поздней античности существовало представление об единичном Эроте и о множестве Эротов, которое отражено и в нашем письме.

9

[1] Ситуация не типична для древней Аттики, язык и бытовую атмосферу которой Аристенет пытается воспроизвести: появление на улице дамы в сопровождении супруга имело место лишь в позднейшее время.

[2] «Ушел» — переведено по L.

10

[1] Сюжет, композиция и отдельные частности заимствованы Аристенетом из книги III «Причин» знаменитого александрийского поэта Каллимаха (фрагм. 67—75, изд. R. Pfeiffer, Oxford, 1949). Аристенет, однако, как показывает сличение с сохранившимися фрагментами Каллимаха, отказался от антикварной учености «Причин», сосредоточив внимание только на любви Аконтия и Кидиппы. Кроме Каллимаха, для этого письма широко использован греческий роман, особенно много текстуальных совпадений с «Повестью о Габрокоме и Антии» Ксенофонта Эфесского.

[2] См. прим. 11 к I, 1.

[3] См. прим. 3 к I, 1, а также «Теогонию» Гесиода, ст. 907:

> Трех ему (Зевсу, — *С. П.*) розовощеких Харит родила Евринома.
>
> (Пер. Вересаева).

[4] Вероятно, речь идет о магических действиях, чтобы приворожить Аконтия: человеческие следы служили для подобного рода колдовства.

[5] Девушки вели в древности замкнутый образ жизни, так что встречи их с молодыми людьми почти исключительно происходили во время празднеств.

[6] Метафорическое выражение, возникшее потому, что яблоко играло большую роль в любовной символике греков. Ср. также ситуацию из I, 25.

[7] См. прим. 9 к I, 1.

[8] «Я» — переведено по V.

[9] Чтение про себя было неизвестно древности, и прочитать — означало произнести вслух.

[10] «Яблоко с этим любовным обещанием» — переведено по V.

[11] Отец Одиссея, Лаэрт, в печали по пропавшем без вести сыне поселился в деревне и занимался сельским трудом. См.: «Одиссея», XXIV.

[12] В новое время тема влюбленных деревьев была разработана Гейне в стихотворении «Der Fichtenbaum», переведенном Лермонтовым.

[13] Сохранился папирусный фрагмент Сапфо (№ 70, Diehl), где говорится о медовоголосом хоре девушек.

[14] Гименеи, т. е. свадебные песни Сапфо, пользовались в древности большой популярностью.

[15] Вечером после свадебного обеда в доме своего отца невеста в сопровождении родных и знакомых торжественно отправлялась в дом жениха.

На второй день после смерти происходил вынос — умершего несли на ложе к месту погребения.

[16] Тиха — богиня случая и счастья.

[17] Пифиец — Аполлон.

[18] Мифический царь Фригии, Мидас, превращал все, к чему притрагивался, в золото.

[19] Тантал — легендарный фригийский царь, обладавший огромным богатством.

[20] Трава златоград (по-гречески chrysopolis), согласно представлениям византийцев, обладала способностью впитывать расплавленное золото, если оно было чистым и не содержало примесей.

11

[1] Вероятно, употребляя имя Филострат, Аристенет намекает на один из своих источников, на произведения знаменитого софиста Флавия Филострата (ок. 170 г.—ок. 244 г.).

[2] См. прим. 3 к I, 1.

[3] «Изваяний Эротов» — переведено по S.

[4] Известно, что Алкивиад, афинский полководец и политический деятель эпохи Пелопоннесской войны, отличался красивой наружностью и потому служил образцом для статуй Гермеса и Эрота (Климент Александрийский, «Протрептик» (41, 26); Плиний, «Естественная история» (36, 28)).

[5] Оры — богини времен года, урожая, юности и красоты — спутницы Афродиты.

[6] Орлиный нос считался признаком красоты.

[7] См. прим. 3 к I, 1.

[8] Пословица, соответствующая нашей «быть на седьмом небе».

12

[1] Противопоставление Востока и Запада — во всяком случае аргумент для датировки этого письма: деление Империи на две части рассматривается как само собой разумеющаяся вещь. См.: I, 26.

[2] «Искушенные в любви ценители женской прелести» — переведено по V.

[3] См. прим. 12 к I, 1.

[4] Имя заимствовано из «Диалогов гетер» Лукиана.

[5] В тексте лакуна.

[6] Сравнение, на наш взгляд, уничижительное и не поэтичное, древними так не воспринималось.

[7] Амвросия — благовонная пища богов.

[8] Историк Филарх сообщает, что вечером скифы клали в колчан белый или черный камешек в зависимости от того, как они прожили день. После смерти владельца колчана камешки пересчитывали и так определяли, был ли умерший счастлив.

[9] См. прим. 16 к I, 10.

[10] «Одиссея» (XXIII, 296). Стих относится к Одиссею и Пенелопе, которые встретились после долгой разлуки.

13

[1] Евтихобул — обладающий счастливым решением. Акестодор — дарующий исцеление.

[2] Сыны Асклепия — врачи; Асклепий — бог врачевания.

[3] Бог-спаситель, т. е. Зевс; в честь него на пирах совершались возлияния из третьей чаши. Здесь поговорка употреблена в том смысле, что третье посещение врача будет решающим.

[4] Поцелуи в грудь — жест искательности и мольбы.

[5] «Хотят сделать» — переведено по P; «Принять участие в совращении собственной жены» — переведено по L.

[6] Сюжет об исцелении юноши, влюбленного в свою мачеху или отцову наложницу, был широко распространен в древности. Обычно он связывался с историческими лицами; особенно упорно сюжет этот соединяли с царем Антиохом I Сотером, который действительно при жизни отца, Селевка I, женился на своей мачехе Стратонике (Плутарх, «Жизнеописание Деметрия Полиоркета», 38; Валерий Максим, «О замечательных словах и поступках», V, 7, 1; Аппиан, «Сирийские войны», 59; Лукиан, «О сирийской богине», 17). Так же, как при использовании в I, 10 поэмы Каллимаха, Аристенет отказывается от каких бы то ни было исторических деталей и заимствует у своих предшественников только сюжетную схему. Использованные им имена свидетельствуют скорее о желании подчеркнуть свою связь с «Эфиопикой» Гелиодора (4, 7), где рассказывается примерно такая же история об исцелении влюбленной Хариклии; при этом Хариклия превращается у Аристенета в Харикла, врач Акестин (целитель) появляется в адресате письма Акестодоре (дарующий исцеление) и, может быть, во враче Панакии (всеисцеляющий), а отец Хариклии — Харикл получает имя Поликл.

14

[1] Филохрематион (падкая до денег) — переведено по A; Евмуз — наделенный художественным даром.

[2] «Или» — переведено по V.

[3] Смысл поговорочного речения «упряжка Кробила» не вполне ясен; сборники древних пословиц связывали его со старым сводником Кробилом и принадлежащими ему гетерами. Существовал также комический поэт Кробил, имя которого ассоциировалось с каким-то законом против гетер.

[4] Хариты — см. прим. 3 к I, 1.

15

[1] Афродисий — любовный. Лисимах — пресекающий битву.

[2] «Тот самый мальчик, вооруженный луком» — Эрот.

[3] «Увидев тяжеловооруженного, хотя его и трудно одолеть» — переведено по V.

[4] Милет и Миунт — города в Ионии (Малая Азия).

[5] Вероятно, Афродита, как это делают гомеровские боги, ради свидания с Фригием придала девушке еще бо́льшую привлекательность.

[6] См. прим. 3 к I, 1.

[7] Старец Нестор, участник Троянской войны, прославленный «Илиадой» Гомера, считался образцом красноречивого оратора. Сюжет письма заимствован из III книги «Причин» Каллимаха (фрагм. 80—83, изд. R. Pfeiffer, Oxford, 1949). История пользовалась в древности популярностью и встречается у Плутарха («О женской доблести», 16) и у Полиена («О военных хитростях», VIII, 35).

[8] «Но» — переведено по V.

16

[1] «Никому» — переведено по L.

[2] «Души» — переведено по V.

17

[1] «В знак того, что добился цели» — переведено по T.

[2] Полностью поговорка звучала так: «Осел слушает лиру, а свинья трубу», и употреблялась применительно к людям, которые чего-то не понимают.

[3] Атриды — сыновья Атрея, Агамемнон и Менелай, предводители греков в Троянской войне.

18

[1] Калликойта — славная ложем, Мейракофила — любящая мальчиков.

[2] Благодаря быстроте бега, отличному чутью и злобе на зверя лаконские собаки высоко ценились охотниками.

[3] См. прим. 19 к I, 10.

[4] Начиная с этого места идут почти буквальные заимствования из Платона. См.: «Федр» 240Д—С., «Государство» 474Д—475А.

[5] «Медовокожие» — переведено по N.

19

[1] Ефронион — благожелательная.

[2] См. прим. 16 к I, 10.

[3] Судя по контексту, Мелиттарион была исполнительницей вокальных партий в миме. Мим — низовой драматический жанр, пользовавшийся в ранневизантийское время исключительной популярностью, включал наравне с диалогом пение и танцы и разыгрывался мужчинами и женщинами.

[4] Исполнители мима не были свободными, т. е. насильственно прикреплялись к своей профессии; для женщин это было особенно тягостно, так как они тем самым приравни-

вались к гетерам. Расстояние, отделявшее их от порядочных женщин, подчеркивалось регламентированной для них одеждой и в известной степени специфическими именами вроде Мелиттарион — пчелка. Имя встречается также и в «Диалогах гетер» Лукиана.

[5] Илифия — богиня родов.

[6] См. прим. 3 к I, 1.

[7] По представлениям древних, ребенок, похожий на отца, — свидетельство супружеской верности матери.

[8] Евтихид — счастливый.

[9] «Освободил» — переведено по V.

[10] «За сына юноша во много раз сильнее полюбил и его мать» — переведено по L.

[11] «После родов она ничуть не подурнела» — переведено по L.

[12] Обе богини — Деметра и Кора.

[13] Диона — мать Афродиты.

20

[1] Оба имени связаны с глаголами охранять, сторожить — phylattō и phrureō.

[2] Еврибат — знаменитый своей дерзостью и ловкостью вор.

[3] Назначение губок не вполне ясно. Может быть они служили для того, чтобы не слышно было ударов металлических кошек о камень.

[4] «Проделка этого юноши и неожиданная, и забавная» — переведено по V.

[5] Дика — богиня правосудия и возмездия.

21

[1] «Новое зло, Миронид, беда от любви» — переведено по V.

[2] Фалерский — из аттического дема Фалер.

[3] См. прим. 16 к I, 10.

22

[1] См. прим. 1 к I, 5.

[2] Аристенет широко пользуется сюжетами и мотивами новой комедии и воспроизводит ее ономастику: Гликерой зовут героиню в комедии Менандра «Отрезанная коса», Харисием — влюбленного юношу из его комедии «Третейский суд».

[3] Дорида — служанка Гликеры в «Отрезанной косе» Менандра.

[4] Греческое приветствие chaire понималось и в своем буквальном значении — будь здоров.

[5] Полемон — имя героя комедии Менандра «Третейский суд».

[6] «Приподняла» — переведено по V.

23

[1] Оба имени намекают на интересы корреспондентов: Монохор — владеющий одним полем на доске, Филокиб — любитель игральных костей.

[2] Имеется в виду игра типа шашек или шахмат, о правилах которой мы имеем весьма неотчетливое представление. Известно однако, что камешки передвигали по доске в зависимости от выпадающего на игральной кости числа очков.

24

[1] «Лисию» — переведено по M; Мусарион — причастная музам; имя подчеркивает род занятий автора письма. Оба имени встречаются в «Диалогах гетер» Лукиана.

[2] См. прим. 3 и 4 к I, 19.

[3] «От нас, кого» — переведено по V.

[4] В тексте лакуна.

[5] «Богиня милостиво ее приняла» — переведено по L.

[6] Сатиры — полулюди, полукозлы с уродливыми курносыми лицами.

25

[1] Имя Памфил, вероятно, заимствовано из «Диалогов гетер» Лукиана, мотивы письма взяты оттуда же (12-й диалог).

[2] Телксиноя — околдовывающая ум.

[3] Тарент (Южная Италия) славился своими тонкими дорогими тканями.

[4] Вероятно, после этой фразы в тексте лакуна.

[5] То, что Телксиноя садится между сестрой и юношей — свидетельство известной благопристойности ее поведения: гетеры в отличие от порядочных женщин возлежали за столом.

[6] См. прим. 6 к I, 10.

[7] «Обойдусь с ней, как лисица с лисицей» — переведено по L. Поговорка «обходиться, как лисица с лисицей» применялась к людям, которые обманывают таких же, как они сами; вторая поговорка дублирует по смыслу первую.

26

[1] «Предстала» — переведено по L.

[2] Панарета — исполнительница пантомима. Этот театральный жанр, очень популярный в IV—VI вв., держался на искусстве солиста, который в сопровождении музыкальных инструментов и хора певцов изображал в танце большей частью какой-нибудь мифологический сюжет, один играя все роли. Со времени Константина Великого женщины наравне с мужчинами получили право выступать в пантомиме.

[3] Полимния — одна из Муз; была связана с пантомимом и потому тут упоминается; Афродита упомянута в связи с красотой Панареты.

[4] «Тебя» — переведено по N.

[5] Морской старец Протей, живший, согласно мифу, на о. Фарос вблизи Александрии, обладал способностью воплощаться в различные образы.

[6] «Объясняет» — переведено по V.

[7] Карамалл — знаменитый пантомим. Подробнее см. в статье.

[8] Новый Рим — Константинополь.

[9] Имя Панарета подчеркивает исключительные качества его носительницы: оно значит — наделенная всеми добродетелями.

27

[1] Филон — распространенное мужское имя; женщина с нарочитой придирчивостью обыгрывает его значение «милый», «приятный».

[2] Либитрии — племя, жившее в Пиерии (Македония) и считавшееся воплощением тупости и незадачливости.

[3] См. прим. 12 к I, 19.

[4] См. прим. 3 к I, 1.

[5] В тексте лакуна.

28

[1] Никострат — известный софист II в.

[2] Плотничий шнурок, применявшийся для обозначения прямых линий на камне, предварительно намазывался суриком.

[3] Имя Кохлида (от kochlos — улитка) намекает на то, что у гетеры не прямой характер: оно заимствовано из «Диалогов гетер» Лукиана.

[4] Текст в этом месте испорчен.

[5] Котурн — здесь имеется в виду не твердый и высокий котурн трагического актера, а использовавшийся служителями культа Диониса мягкий сапог, который, как чулок, годился на обе ноги. Поэтому котурном называли человека, склонного к неожиданным переменам настроений и точек зрения.

[6] Согласно мифу, Пенелопа, супруга Одиссея, чтобы избавиться от притязаний осаждавших ее во время отсутствия Одиссея женихов, обещала им сделать выбор тогда, когда кончит ткать начатый покров. Еженощно она распускала то, что ей удавалось соткать за день.

КНИГА ВТОРАЯ

1

[1] Автор письма носит имя известного софиста II—III вв. Элиана.

[2] Пейто́ — богиня убеждения, спутница Афродиты.

[3] Аполлон, — отвратитель зла, — фигура преимущественно народной религии.

[4] Эриннии — богини, мстящие за убийство.

[5] Афродита, богиня любви, мыслится покровительницей гетеры Калики, и потому богиня ей «своя».

[6] Афродита нередко рисуется с атрибутами, обычными для Эрота. Хариты — см. прим. 3 к I, 1.

[7] Здесь использована известная эпиграмма Мелеагра (Палатинская Антология, V, 96):

Пламя в глазах твоих, Ти́мо, а губы, как клей птицелова,
Только взглянула — сожгла, только коснулся — в плену.

(Пер. Г. Г. Шмакова).

[8] «Пока» — переведено по V. Дальше лакуна, и перевод сделан по смыслу.

[9] Фраза «А роза, даже если никто ею не наслаждается, вянет» — не вяжется с контекстом и потому заключена в скобки.

[10] Жезл — непременный атрибут вестника; жезл отправляющегося к гетере вестника — звонкая монета.

2

[1] См. прим. 5 к I, 10, а также ср. ситуацию в I, 15.

[2] Намек на метаморфозы влюбленного Зевса, который в образе быка похитил Европу, в виде золотого дождя сошел на Данаю и, обратившись в лебедя, соблазнил Леду.

[3] «Может» — переведено по H; «Хочешь, чтобы теми, которых я сейчас только умолял» — переведено по B.

3

[1] Гликера — имя героини комедии Менандра «Отрезанная коса».

[2] При предварительных переговорах между отцами молодого человека и девушки в качестве представительницы ее интересов могла участвовать сваха.

[3] В связи с сюжетом см. прим. 4 к I, 5.

4

[1] Дорида (см. прим. 3 к I, 22), как следует из дальнейшего, по-видимому, гетера, принадлежащая сводннку. Ситуация письма сходна с вводной сценой комедии Плавта «Проделки парасита», заимствовавшего сюжеты из новой комедии.

5

[1] См. прим. 3 к I, 1.

[2] Ахилла еще Гомер считал самым красивым из греческих героев:

Вслед за Ниреем, который из греков, пришедших под Трою,
Всех был прекрасней лицом, кроме славного сына Пелея.

(«Илиада», II, 673 сл.).

[3] Кентавр Хирон был воспитателем юного Ахилла и обучил его наряду с прочим музыкальному искусству.

[4] Концепция любви как болезни с древних времен укоренилась в сознании греков. Описание переживаний Парфениды находится под непосредственным влиянием III книги «Аргонавтики» эллинистического поэта Аполлония Родосского, рассказывающей о влюбленности Медеи.

[5] Образ заимствован из «Аргонавтики» Аполлония Родосского (III, 756); имя, по-видимому, из «Диалогов гетер» Лукиана или принадлежит к числу смысловых: Парфенида значит девственная.

[6] Печень считалась средоточием страстей.

[7] Фраза почти буквально заимствована из «Аргонавтики» (III, 785).

[8] Отзвук трагедии Еврипида (фрагм. 920).

6

[1] Имена корреспондентов в тексте отсутствуют.

[2] Согласно греческой физиогномике, поднятые брови — признак надменности.

[3] Доброе пожелание (см. прим. 7 к I, 19) в устах отвергнутого соперника звучит, конечно, иронически.

[4] Поговорка «Кадмейская победа» связывалась с различными событиями легендарной истории основанных Кадмом беотийских Фив, но чаще всего с битвой братьев Этеокла и Полиника за обладание городом, кончившейся гибелью обоих.

7

[1] Поговорочное речение: считалось, что сицилийцы воруют даже не имеющие ценности вещи, в том числе и зеленый виноград. Имя юноши Эмпедокл (принято издателями вместо непонятного рукописного Педокл) ассоциируется с сицилийским натурфилософом и врачем Эмпедоклом (V в. до н. э.).

9

[1] См. прим. 5. к I, 20.

10

[1] Оба имени смысловые — Филопинак — любящий картину, Хроматион — связанный с краской.

[2] Сюжет, рассказывающий о человеке, влюбившемся в произведение искусства, был широко распространен (наиболее известный вариант — история Пигмалиона) и представлен двумя типами: картина или статуя либо оживала, либо, как у Аристенета, влюбленный мучился от бесплодной любви.

[3] Филопинак имеет в виду картины, в основу которых были положены известные мифологические сюжеты.

Федра, супруга Тесея, влюбилась в своего пасынка Ипполита, была причиной гибели юноши и сама кончила жизнь самоубийством.

Охотник Нарцисс влюбился в свое отражение в воде, а Пасифая, супруга критского царя Миноса, — в быка.

[4] Сын Амазонки — Ипполит.

[5] Предложение заимствовано из «Картин» Филострата (I, 23, 1); оно не вяжется с контекстом, вероятно, не потому, что автор некстати использовал понравившуюся ему фразу: Аристенет обычно продуманно и искусно контаминирует источники, и виноват

скорее переписчик, который мог пропустить предшествовавшее ей и связывавшее ее с последующим предложение. Такая мысль тем более напрашивается, что рукопись несвободна от аналогичных ошибок.

[6] Крылатые мальчики Афродиты — Эроты.

11

[1] «Эротам» — переведено по V.

12

[1] Автор письма преступил правило житейской мудрости, предписывавшее жениться только на равной по достатку женщине; потому он иронически назван Евбулидом, что значит благое решение.

[2] Диномаха — ужасная битва. Имя встречается в «Диалогах гетер» Лукиана.

[3] Гиматий — см. прим. 4 к I, 7.

[4] Цитата заимствована из комедии Аристофана «Облака» (ст. 54); Глагол spathaō — плотно ткать — означает по-гречески также мотать деньги, что, принимая во внимание жест Евбулида, показывающего на свой дырявый плащ, придает фразе двусмысленный и иронический оттенок.

[5] Ругательство, соответствующее нашему «послать ко всем чертям».

13

[1] Согласно мифу, дочь критского царя Миноса, Ариадна, влюбившись в афинского героя Тесея, помогла ему одолеть чудовище Минотавра и вместе с ним бежала с Крита. На о. Наксосе Тесей вероломно бросил спящую Ариадну, но Дионис сделал покинутую своей супругой.

«Тесей и Дионис» — переведено по V.

14

[1] Прекрасный сын — Эрот.

[2] Возможно, речь идет о каких-нибудь колдовских действиях.

[3] «Эротом» — переведено по L.

[4] Мелиттарион — ласкательное от имени Мелитта — пчела. См. прим. 4 к I, 19.

15

[1] «Афродиту» — переведено по H (в аппарате).

16

[1] См. прим. 1 к I, 25.

[2] «Напрасны» — переведено по L.

[3] Обол — мелкая монета.

17

[1] См. прим. 2 к I, 5.

[2] «Однако, если ты так уговариваешь меня» — переведено по V.

[3] «Никогда» — переведено по C.

[4] Известное изречение, приписывавшееся спартанским матерям см.: Плутарх «Изреч. неизвестных лаконянок», 16.

[5] Трижды по шесть — результат, считавшийся признаком редкого везенья.

18

[1] См. прим. 1 к I, 25.

[2] В тексте лакуна.

[3] «Она пыталась сделать разыгрываемую им комедию» — переведено по L; «Как можно более правдоподобной». — переведено по M.

[4] Волшебное колесо — один из аксессуаров любовной магии; птичку-вертишейку с раскрытыми крыльями привязывали к колесику и вращали его, приговаривая соответствующее заклинание, чтобы приворожить объект любви.

19

[1] Корреспондентами выступают знаменитые греческие поэты архаического периода — Архилох и Терпандр.

[2] Речь идет о веселом пьяном шествии, комосе, которым нередко оканчивался пир.

[3] «Друг перед другом старались угодить мне» — переведено по Heberdey.

20

[1] Волк, напрасно разевающий пасть — поговорочное речение, применяемое к жадным людям, которым не удается удовлетворить свою жадность. Здесь оно связывается с человеком, которого зовут волк: имя Ликон ассоциируется с греческим lykos — волк.

21

[1] Габроком — имя героя романа Ксенофонта Эфесского «Повесть о Габрокоме и Антии».

[2] Один из способов охоты на птиц — обмазывание веток деревьев клеем, в котором маленькие птички увязали.

[3] Дельфидион — ласкательная форма имени Дельфида.

22

[1] Коллегия одиннадцати — постоянная комиссия в древних Афинах, ведавшая тюрьмами и арестами.

[2] Здесь текст обрывается. Относительно мотива см. прим. 4 к I, 5.

[23]

[1] Письмо, очевидно, не принадлежит Аристенету, так как отсутствует в рукописи его «Писем», и представляет собой либо школьное риторическое упражнение, либо фрагмент эпистолографического сборника неизвестного времени. Оно включено в книгу как характерный образец фиктивного любовного письма. Перевод выполнен А. Н. Егуновым по изданию: Aristaeneti Epistolae edidit Boissonade. Lutetiae, 1822.



ПРИМЕЧАНИЯ К «ПОВЕСТИ ОБ ИСМИНИИ И ИСМИНЕ» ЕВМАТИЯ МАКРЕМВОЛИТА

Перевод сделан по изданию: Eustathii Macrembolitae Hysmines et Hysminiae Amoribus. Recensuit Isidorus Hilberg. Vindobonae, MDCCCLXXVI.

КНИГА ПЕРВАЯ

[1] Еврикомид — город не существовал в реальности и придуман Евматием.

[2] Диасии — главный афинский праздник Зевса Милихия (Очистителя).

[3] Описанная ситуация не находит себе полной аналогии в древности, хотя существенные ее черты можно видеть в обыкновении оповещать о наступлении праздников общегреческого значения через вестников, объявлявших также о священном перемирии (что позволяло жителям даже враждебных общин присутствовать на этих праздниках), а также в обычае посылать священные посольства, феории, в дружественные общины с той же религиозной целью.

[4] Авликомид — подобно Еврикомиду, вымышленный город.

[5] Сократ (469—399 до н. э.) — греческий философ, пользовавшийся большой популярностью и всегда окруженный многочисленными учениками и последователями.

[6] Алкиной — царь мифического блаженного народа феакийцев, согласно «Одиссее» Гомера, обладатель чудесного сада.

[7] Елисейские поля — страна блаженства, местопребывание героев и любимцев богов.

[8] Гефест — бог-кузнец, создатель удивительных по совершенству произведений искусства.

[9] Дедал — мифический строитель и художник, статуи которого казались наделенными жизнью.

[10] Пентельский камень — знаменитый мрамор, который добывался на отроге горы Парнет в Аттике.

[11] Хитон — здесь значит верхняя одежда.

[12] Греки пили вино, смешанное с водой, причем вина было обычно значительно меньше, чем воды.

[13] Нектар — напиток богов.

[14] Для поддержания общественного порядка улицы греческих городов в ночные часы обходила стража, сменявшаяся через равные промежутки времени 3—5 раз; по ее сменам определяли время.

[15] Кратисфен, несколько изменяя его, цитирует стих Гомера («Илиада», II, 24):

Не подобает всю ночь так покоиться мужу совета

(Пер. Минского).

В дальнейшем «Илиада» всюду, где нет специальных оговорок, цитируется в переводе Минского.

[16] Кратисфен любопытен и потому, не удовлетворившись рассказом Исминия, будит его ночью и «бранит его язык». В оправдание своей настойчивости он ссылается на Гесиода («Труды и дни», 719, пер. А. Н. Егунова), побуждая этим рассказать побольше.

[17] Зевс-Спаситель — одна из многочисленных ипостасей Зевса.

[18] Гиппократ, «О пище», 8.

КНИГА ВТОРАЯ

[1] Евматий не стесняется смелого анахронизма, вкладывая в уста Исминия цитату из «Псалмов» (XVII/XVIII, 13): «От блистания перед ним бежали облака его, град и угли огненные».

[2] Арей или Арес — бог войны.

[3] Эпитет нежнокожая заимствован из Гесиода, «Труды и дни», 519; проясняющий небо Борей (т. е. северный ветер) — отрывок гекзаметра из «Одиссеи» (V, 296). Пер. Вересаева. В дальнейшем Гесиод цитируется по переводу Вересаева.

[4] За отсутствием в византийской действительности впечатлений от обнаженного тела, прозрачных тканей, женщин в воинском уборе автор с особым удовольствием останавливается на этом в своих экфразах.

[5] Вероятно, ямбический стих принадлежит самому Евматию. Пер. А. Н. Егунова.

[6] Доблесть, аллегорически представленная в виде девы, существительное женского рода, поэтому Евматий говорит, что «по имени она — дева».

[7] Роза — цветок Афродиты.

[8] Фемида — богиня справедливости и закона.

[9] Крез (560—546 до н. э.) — лидийский царь, прославленный своим богатством.

[10] Микены — древнейший центр греческой культуры материковой Греции (Пелопоннес), согласно мифу, царство Атридов. Эпитет златообильные заимствован из Гомера («Илиада», XI, 46).

[11] Софокл, «Аякс», 555. Лишиться здравого смысла, рассудительности (с точки зрения византийца, только в таком состоянии человек может обнажиться) — это беда, зло, но лишенное ощущения боли. Пер. А. Н. Егунова.

[12] Хариты — божества прелести, красоты и радости, спутницы Афродиты.

[13] Имеется в виду миф, согласно которому во время свадьбы морской богини Фетиды богиня раздора, Эрида, бросила яблоко с надписью «Прекраснейшей» и вызвала этим распрю между Герой, Афиной и Афродитой. Судьей в их споре был троянский царевич Парис, который признал самой красивой Афродиту и ей вручил яблоко.

[14] Подразумевается мифический рассказ о вступлении Эдипа на фиванский престол. Скитаясь по стране в страхе перед оракулом, предрекшим ему убийство отца и брак с матерью, Эдип оказался вблизи Фив. Невдалеке от города жил Сфинкс, крылатое чудовище с женской головой, львиным туловищем и змеиным хвостом. Оно загадывало фиванцам загадки и пожирало всех, кто не мог их разгадать. Эдип решил помочь фиванцам, разгадал загадку Сфинкса и освободил город от опасности, так как побежденный Сфинкс бросился со скалы. За это он получил царство в Фивах.

[15] Пифия — жрица Аполлона, дававшая, сидя на священном треножнике, темные, нуждавшиеся в толкованиях оракулы.

[16] Япет — фигура древнейшей мифологии, сын Урана и Геи, титан.

[17] Отрывок гекзаметра из «Илиады» (III, 75). Ахея — в процитированном месте Гомера подразумевается северная Греция, у Евматия — синоним слова Греция вообще.

[18] Амфитрита — божество моря, впоследствии одна из нереид. Здесь, видимо, олицетворение самого моря. Потомки Амфитриты — рыбы и морские животные.

[19] Ямбы, вероятно, принадлежат Евматию. Пер. А. Н. Егунова.

[20] Намек на стих Еврипида («Гекуба», 255).

[21] Цитата из «Илиады» (VII, 282).

[22] Византийский автор, не боясь кощунства, применяет к Эроту известный псалом Давида (CXXXVIII/CXXXIX, 7—10): «Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там; сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря; и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя».

[23] Софокол, «Аякс», 132. Пер. А. Н. Егунова.

КНИГА ТРЕТЬЯ

[1] Намек на стих Софокла («Аякс», 132).

[2] Лавровый венок — символ чистоты.

[3] Афродисии — праздник в честь Афродиты.

[4] Непередаваемая игра слов, к которой так склонен Евматий; буквально: у меня нет сил, Сильный (имя Кратисфен означает крепкий силой).

[5] Намек на то, что Эрот совлек с Исминия лавровый венок чистоты и увенчал его любовным венком из роз.

[6] Отзвук мысли из трагедии Еврипида «Ипполит», 439.

[7] «Илиада» (II, 2).

[8] Согласно представлению, распространенному в древности, через глаза воспринимается поток красоты, втекающий в них из объекта любви; поэтому они порождают любовь и являются ее источником, т. е. причиной. Вероятно оно заимствовано автором из греческого романа. У Ксенофонта Эфесского «Повесть о Габрокоме и Антии» мы читаем: «Антия почувствовала любовный недуг; широко раскрытыми глазами она впитывала струящуюся в них потоком красоту Габрокома» (I, 3), пер. С. Поляковой и И. Феленковской. Аналогично у Ахилла Татия: «Красота втекает через глаза в душу» («Левкиппа и Клитофонт», I, 9; ср.: VI, 7).

[9] Оборот заимствован из трагедии Софокла «Аякс», 508.

[10] «Илиада» (III, 157). Пер. И. В. Феленковской.

[11] Фиас — дружеский круг.

[12] Агора — рыночная площадь, центр общественной жизни древнегреческих городов, где происходили собрания, диспуты и литературные выступления.

[13] Намек на «Одиссею» (VI, 219 сл.), где Елена добавляет в вино забытное зелье, чтобы избавить присутствующих на пиру от печальных воспоминаний.

В чаши она круговые подлить вознамерилась соку,
Гореусладного, миротворящего, сердцу забвенье
Бедствий дающего.

[14] Зевс-Филий — одна из ипостасей Зевса, т. е. Зевс, покровитель дружбы.

[15] Еврипид, «Медея», 408 и сл. Пер. А. Н. Егунова.

[16] Насильно задерживаемый нимфой Калипсо, Одиссей тосковал по своей родине и не соблазнялся даже бессмертием, которое мог получить, став ее супругом. См.: «Одиссея» (I, 57 сл. и V, 135 и сл.).

[17] Раб, согласно греческим представлениям, покорен своим господам только физически, душевно же он свободен, так как является рабом вопреки своему желанию.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

[1] См. прим. 17 к первой книге.

[2] Гесиод, «Труды и дни», 153.

[3] Феокрит (III, 20). Пер. А. Н. Егунова.

[4] Бог Пан — покровитель пастбищ и стад.

[5] Гесиод, «Труды и дни», 546.

[6] Пеплос — просторная и длинная верхняя одежда.

[7] Ямбический стих, вероятно, принадлежит Евматию. Пер. А. Н. Егунова.

Экфраза «12 месяцев» послужила Фольцу для датировки романа XII в. (Voltz. Bemerkungen zu byzantinischen Monatslisten. Byz. Zeitschrift, 4, 1895). Считая, что в основе календаря Евматия лежит аттический календарь, начинавший год с гекатомбия (июль—август), Фольц объясняет замену аттического гекатомбия на календаре Евматия мартом тем, что новый календарный год запоздал сравнительно с солнечным на восемь месяцев; такое опоздание, согласно Фольцу, имело место между 1131—1282 гг. Не входя в математические расчеты Фольца, представляющиеся недостаточно обоснованными, следует отметить, что его датировка не выдерживает критики и по другим причинам: произволен основной тезис автора, так как нет доказательств, что в основе экфразы лежит непременно аттический, а не какой-нибудь другой греческий календарь, так как ни один из месяцев не имеет у Евматия наименования. Кроме того, первая картина не обязательно изображает первый календарный месяц по какому бы то ни было гражданскому календарю: художник всегда вправе изобразить двенадцать месяцев года, начиная с любого месяца. Нельзя поэтому сказать, что аттический июль перенесен у него на март. Не исключена возможность, что Исминий и Кратисфен начали разглядывать картину с конца, т. е. с последнего изображения, а не с первого.

[8] Мудрый поэт — Гесиод, см.: «Труды и дни», 383 и сл.

[9] «Перед огнем очага» — Гесиод, «Труды и дни», 734.

[10] Почти буквальная цитата из Гесиода («Труды и дни», 518 и сл.):

> Он даже старцев бежать заставляющий силой своею,
> Не продувает он также и девушки с кожею нежной.

[11] «Илиада» (VII, 282). Пер. А. Н. Егунова.

[12] Евматий намекает на миф о Ясоне. Когда герой прибыл в Колхиду за золотым руном, царь Ээт согласился отдать руно, если Ясон посеет зубы дракона и победит выросших из них вооруженных исполинов. Поэтому Исмина «зарывает» свои зубы в губы Исминия и вследствие этого вырастают Эроты свирепее, чем гиганты.

[13] Щит семикожный — фрагмент гомеровского гекзаметра (см.: «Илиада», VII, 220). Семикожный щит — крепкий щит, обороняющий воина семью рядами толстой кожи.

[14] Еврипид, «Гекуба», 228. Пер. А. Н. Егунова.

КНИГА ПЯТАЯ

[1] Гименей — брачная песнь во время свадебного шествия.

[2] Труба названа тирренской, так как изобретение этого музыкального инструмента приписывалось тирренцам, т. е. этрускам.

[3] Намек на похищение троянским царевичем Парисом Елены.

[4] Покрыть каменным хитоном — значит побить камнями; выражение заимствовано из Гомера («Илиада», III, 57).

[5] Еврипид, «Гекуба», 866 сл. Пер. А. Н. Егунова.

[6] Согласно мифу, Полиместор был ослеплен за коварное убийство сына Гекубы ею и другими троянками.

[7] Еврипид, «Гекуба», 72. Пер. А. Н. Егунова.

[8] Олимпионик — победитель на Олимпийских играх. Пятиборье — состязание в пяти видах физических упражнений, принятое во время Олимпийских игр.

[9] Зевс-Гостеприимец — покровитель гостеприимства — одна из ипостасей Зевса.

[10] Молчание — украшение женщин. Сходная мысль в трагедии Софокла «Аякс», 293.

[11] См. прим. 8 к третьей книге.

[12] См. прим. 12 ко второй книге.

[13] См. прим. 13 к первой книге.

[14] Образ навеян ветхозаветной поэзией (см.: Исайя, I, 8): «И осталась дщерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город».

[15] См. прим. 14 к первой книге.

[16] Девушка в материковой Греции вела замкнутый образ жизни; правда, посещение храмов, особенно по торжественным случаям, было ей дозволено, и Евматий здесь несколько сгущает краски.

[17] См. прим. 12 ко второй книге.

[18] Стих с некоторыми изменениями заимствован из Гесиода («Труды и дни», 746).

[19] См. прим. 14 к третьей книге.

[20] В словах Исмины слышится отзвук «Илиады» (XXII, 389 и сл.):

Пусть об усопших должны забывать мы в жилище Аида,
Все же и там вспоминать о возлюбленном буду я друге.

КНИГА ШЕСТАЯ

[1] Елисейские поля — см. прим. 7 к первой книге. Острова блаженных — место, куда, по верованиям греков, после смерти попадали праведники. Обычно локализуются на краю земли. В связи с известной неопределенностью и противоречивостью загробных представлений греков Елисейские поля и острова блаженных не всегда точно разграничиваются.

[2] Выражение заимствовано из Гомера («Илиада», XVII, 514).

[3] Подразумевается один из завершающих обрядов греческой свадьбы, когда невесту после свадебного обеда торжественно провожали из родительского дома в дом жениха.

[4] Персефона — супруга Аида, богиня подземного царства.

[5] Плутос — божество богатства.

[6] Плутон-Аид — бог подземного царства.

[7] Еврипид, «Гекуба», 413. Пер. А. Н. Егунова.

[8] См. прим. 1 к пятой книге.

[9] См. прим. 6 к настоящей книге.

[10] Эриннии — богини мести и проклятия.

[11] Эпиталамий — брачная песнь, которую пели перед спальней новобрачных.

[12] Отзвук стиха из «Илиады» (VI, 429), вложенного в уста Андромахи:

Гектор, теперь для меня ты отец, ты и мать дорогая.

[13] Место, очевидно, навеяно «Гекубой» Еврипида, ст. 96 сл.

[14] Поговорка отмечена в словаре Свиды под словом anthrakes — уголья.

[15] Намек на «Одиссею» (XIX, 163):

Ведь не от дуба ж ты старых сказаний рожден, не от камня.
(Пер. Вересаева).

[16] Несколько измененный ст. 1226 из «Гекубы» Еврипида. Пер. А. Н. Егунова.

[17] Фрагмент гекзаметра из «Илиады» (XII, 201).

[18] Намек на известный миф об орле, терзающем прикованного к скале титана Прометея.

[19] Эсхил, «Прометей», 79 сл. Пер. А. Н. Егунова.

[20] Еврипид, «Финикиянки», 355. Пер. А. Н. Егунова.

[21] Еврипид, «Финикиянки», 469. Пер. А. Н. Егунова.

[22] Эпиметей — брат Прометея, как говорит самое его имя, крепкий задним умом; он, не послушавшись совета брата, взял в жены Пандору, посланную на землю Зевсом с ящиком, в котором были заключены все бедствия и невзгоды, и открыл ящик; бедствия вырвались наружу, и с тех пор Эпиметей неустанно раскаивался в своем поступке.

[23] «Гость по отцу» — фрагмент гомеровского гекзаметра («Илиада», VI, 215). Греческое xenos, переданное Минским словом гость, обозначает социальное понятие, близкое понятию кунак. Лица, живущие в разных городах и связанные обязательствами взаимного гостеприимства, оказывали друг другу не только прием в своем доме, но многообразно представляли и защищали его интересы, что было необходимо,

поскольку гражданин одного города не располагал даже в соседнем гражданскими правами и нуждался в покровителе.

[24] Фраза заимствована из «Пира» Платона.

[25] Сирены — мифические существа, отличавшиеся необыкновенно искусным пением и губившие привлеченных их песней моряков.

[26] Гименей — см. прим. 1 к пятой книге. Песня, которую перед спальней поют Эроты, — см. прим. 11 к шестой книге.

КНИГА СЕДЬМАЯ

[1] Аристофан, «Богатство», 600. Пер. А. Н. Егунова.

[2] Аид — подземное царство.

[3] Гименей — см. прим. 1 к пятой книге.

[4] Кратер — винная чаша.

[5] Согласно мифу, тени мертвецов переправлялись через реку, протекающую в подземном царстве, на ладье перевозчика Харона.

[6] Амфитрита — см. прим. 18 ко второй книге.

[7] Персефона — см. прим. 4 к шестой книге.

[8] Сирена — см. прим. 25 к шестой книге.

[9] Фрагмент гекзаметра из «Трудов и дней» Гесиода, 153.

[10] Еврипид, «Гекуба», 607 и сл. Пер. А. Н. Егунова.

[11] Евматий имеет в виду миф, рассказанный в «Илиаде»: Хрисеида, дочь жреца Аполлона Хриса, была захвачена в плен после покорения одного из союзных Трое городов и досталась предводителю греческого воинства под Троей Агамемнону. Аполлон вступился за оскорбленного жреца и наслал на греков мор. Возвращение девушки отцу умилостивило бога.

[12] «С ним или на нем» — такими словами, согласно Плутарху («Изречения неизвестных лаконянок», 16), лаконские матери напутствовали идущих в битву сыновей.

[13] Евматий намекает на рассказ Ксенофонта Афинского о персидском сатрапе Абрадате («Киропедия», VII, 3, 8). Когда Кир Младший, прощаясь с убитым Абрадатом, взял его за руку, рука Абрадата, почти отделенная от тела сильным ударом меча, потянулась как бы в ответном движении.

[14] «Не вырвалась за ограду зубов» — выражение заимствовано из Гомера («Илиада», IV, 350).

[15] Место, возможно, навеяно Ветхим Заветом: «И они взяли Иону и бросили его в море; и море остановилось в бушевании своем» (Иона, I, 15).

[16] Кенотафий — буквально пустая могила, т. е. надгробный памятник, который ставился символически, когда тело умершего не могло быть похоронено, например в случае гибели человека в море, и т. п.

[17] Нереиды — нимфы воды.

[18] Кратеры — см. прим. 4 к настоящей книге.

[19] Амфитрита — см. прим. 18 ко второй книге.

[20] Аид — см. прим. 6 к шестой книге.

[21] Согласно мифу, в подземном царстве протекает река забвения Лета; выпив из нее воды, тени умерших забывали все, связанное с земной жизнью.

[22] Несколько измененный гекзаметр из «Илиады» (IX, 325).

[23] Хариты — см. прим. 12 ко второй книге.

КНИГА ВОСЬМАЯ

[1] Триера — военный корабль, снабженный тремя рядами весел. Гребец действовал одним веслом, держа его обеими руками.

[2] См. прим. 14 к первой книге.

[3] Артикомид — город придуман Евматием.
[4] Евматий пользуется здесь, как многие византийские писатели, античной терминологией.
[5] Дафниполь — город реально не существовал.
[6] Эпиникий — победная песнь.
[7] Лавр — священное дерево Аполлона.
[8] Эрот и Аполлон — сыновья Зевса.
[9] См. прим. 7 ко второй книге.
[10] «Одиссея» (I, 170). Пер. А. Н. Егунова.
[11] Тиха — богиня судьбы и случая.
[12] Эриннии — см. прим. 10 к шестой книге.
[13] Еврипид, «Гекуба», 332 сл. Пер. А. Н. Егунова.
[14] Еврипид, «Гекуба», 375 сл. Пер. А. Н. Егунова.
[15] Для древнего грека характерно представление о том, что божество завидует судьбе человека и из зависти насылает на него несчастья.
[16] Девушку, в которую был влюблен Аполлон, звали Дафна; после ее превращения в лавровое дерево оно получило имя daphnē.
[17] Гея — богиня земли.
[18] Еврипид, «Медея», 54 сл. Пер. А. Н. Егунова.
[19] Фрагмент гекзаметра из «Илиады» (IV, 68).
[20] Херемон (фрагм. 2 Nauck [2]). Пер. А. Н. Егунова.

КНИГА ДЕВЯТАЯ

[1] В тексте лакуна.
[2] Фрагмент гекзаметра из Илиады (VII, 213).
[3] Согласно греческой физиогномике, поднятые брови выражают гордыню и заносчивость.
[4] Гесиод, «Труды и дни», 24. Пер. А. Н. Егунова.
[5] Фрагмент стиха Феокрита (III, 37). Подергивание правого глаза считалось хорошей приметой.
[6] Кратер — см. прим. 4 к седьмой книге.
[7] В отличие от христианских представлений демон у древних греков божество вообще.
[8] Лаконский пес — гончая собака, гнавшаяся за зверем по следу.
[9] Тиха — см. прим. 11 к восьмой книге.
[10] Хариты — см. прим. 12 ко второй книге. Афродита, согласно мифу, обладала волшебным поясом, способным привораживать любовь.
[11] Локридские розы отличались свойством отцветать, не успевши расцвести (Поллукс, V, 102). Реминисценция «Александры» Ликофрона (ст. 1429).
[12] «Одиссея», I, 273. Пер. Вересаева.
[13] В связи с мифом, рассказанным в предшествующей книге, эти представления легко расшифровываются: лавр — священное дерево Аполлона, которое породила Гея (земля), так как скрыла девушку в своих недрах и вместо нее подарила богу лавр; лавр напоминает об Афродите, поскольку возник из-за любви Аполлона к Дафне и является утешителем Эрота (любви), ибо произведен на свет, чтобы возместить Аполлону утрату возлюбленной.
[14] Нитр — щелок.
[15] Гелеполида — буквально губительница городов, т. е. осадная машина.
[16] Еврипид, «Медея», 265 сл. Пер. А. Н. Егунова.
[17] Софокл, «Электра», 59 сл. Пер. А. Н. Егунова.

КНИГА ДЕСЯТАЯ

[1] Дафний — эпитет Аполлона.
[2] Еврипид, «Ипполит», 415 сл. Пер. А. Н. Егунова.
[3] См. прим. 14 к первой книге.
[4] Заимствование из Феокрита (VI, 18). «Сдвинуть с черты камень» — выражение поговорочного типа; оно происходит от игры, напоминающей шахматы или шашки, по условиям которой игрок сдвигал камешек с черты, разделявшей пополам доску, лишь в самых критических случаях, поэтому речение значит: «прибегать к последнему средству».
[5] Альциона — зимородок, птица скорби, в которую, по мифу, превратилась тоскующая по умершему мужу супруга.
[6] Соловей — птица печали.
[7] Ниоба — символ несчастной матери. Согласно мифу, Ниоба за хвастовство своим многочисленным потомством была жестоко наказана: ее сыновья и дочери были убиты, а сама она от горя превратилась в камень.
[8] Феб — второе имя, или эпитет Аполлона.
[9] Киммерия — легендарная страна вечной тьмы на крайнем западе.
[10] Филэллин — буквально «тот, кто любит эллинов».
[11] Дафний — см. прим. 1 к настоящей книге.
[12] Шлем Аида — слова заимствованы из «Илиады» (V, 845).
[13] Отзвук Псалмов (XLI, 2—3): «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже! Жаждет душа моя к богу крепкому, живому — когда прийду, и явлюсь перед лицо Божие».
[14] Терновник служил у византийцев топливом и материалом для ограды. См.: «Геопоники», V, 44.
[15] См. прим. 7 к восьмой книге.
[16] Стреловержец — эпитет Аполлона.
[17] Пеан — хоровой гимн разного содержания (здесь благодарственный) в честь Аполлона.
[18] В тексте лакуна.
[19] Отзвук поэмы Ликофрона «Александра», 2.
[20] Слова заимствованы из Ликофрона («Александра», 3).

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

[1] Эпиникий — см. прим. 5 к восьмой книге.
[2] Гекатомба — буквально: жертва ста голов скота, переносно: богатая жертва.
[3] Отзвук «Гекубы» Еврипида, 612 сл.
[4] Кенотафий — см. прим. 16 к седьмой книге.
[5] Триера — см. прим. 1 к восьмой книге.
[6] Гекзаметр неизвестного автора. Пер. А. Н. Егунова.
[7] См. прим. 10 к пятой книге.
[8] Протей — согласно мифу, морской старец, обладавший способностью менять свой облик, превращаясь в животных, в огонь и т. д.
[9] Гименей — см. прим. 1 к пятой книге.
[10] Эпиталамий — см. прим. 11 к шестой книге.
[11] Аттикизм — подражание нормам аттического литературного языка V—IV вв. до н. э.; провозглашено второй софистикой (II в. н. э.) в качестве руководящего литературного принципа и не потеряло актуальности в византийское время, оставив след в творчестве многих писателей.
[12] Аристофан, «Облака», 2. Аристофановское слово «ночь» заменено у Евматия словом «день». Пер. А. Н. Егунова.
[13] См. прим. 21 к седьмой книге.

[14] Имеется в виду миф о братьях Касторе и Полидевке. Когда Кастор был убит, его бессмертный брат Полидевк, не желая с ним расстаться, поделился с Кастором своим бессмертием — по просьбе Полидевка, Зевс разрешил братьям один день находиться среди богов на Олимпе, а второй — в подземном царстве.

[15] Величайший греческий герой Геракл, преследуемый гневом Геры, служил рабом и, скитаясь по всей земле, совершил множество подвигов, а затем был удостоен бессмертия.

[16] Согласно мифу, Икар, сын Дедала, спасаясь от преследований царя Миноса, полетел вместе с отцом на изготовленных им крыльях с Крита в Сицилию, но по дороге упал в море, получившее по имени юноши название Икарийского.

[17] Выражение «скончание века», по-видимому, — христианский анахронизм, не единственный в романе.

[18] См. прим. 16 к восьмой книге.

[19] Согласно мифу, юноша Гиацинт, любимец Аполлона, был из ревности погублен Зефиром. После его смерти в утешение Аполлону из крови юноши появился цветок гиацинт, на лепестках которого древние различали восклицание печали «aI».

[20] Гея — см. прим. 17 к восьмой книге.

[21] Гермес имел множество разнообразных функций и был патроном многих искусств, в частности искусства письма.



СОДЕРЖАНИЕ

ВИЗАНТИЙСКАЯ ЛЮБОВНАЯ ПРОЗА

Утверждено к печати
Редакционной коллегией серии „Литературные памятники"
Академии наук СССР

Редактор издательства *А. Л. Лобанова.* Художник *Д. С. Данилов*
Технический редактор *М. Н. Кондратьева.* Корректор *Т. Г. Эдельман*

Сдано в набор 3/II 1965 г. Подписано к печати 15/VI 1965 г. РИСО АН СССР № 11-200В. Формат бумаги $70 \times 90^1/_{16}$. Бум. л. $4^7/_8$. Печ. л. $9^3/_4 = 11{,}4$ усл. печ. л. Уч.-изд. л. 10.82. Изд. № 2603.
Тип. зак. № 59. Тираж 30 000. ТП (доп.) 1965 г. № 82.
Цена в переплете 85 коп., в обложке 65 коп.

Ленинградское отделение издательства „Наука"
Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. издательства „Наука". Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*
63	12—13 снизу	покрыта покрывалом,	покрыта,
70	18 сверху	Фемистия женщины почтили молчание,	Фемистия — женщины, почтив молчание,
110	6 „	увенчиваешь	увековечиваешь
118	1 „	I, 9	I, 9, 2
121	16 снизу	не упоминается ни у одного	не упоминается почти ни у одного
123	12 „	Вальсамола,	Вальсамона,
135	7 сверху	Aristaenetos	Aristainetos
135	14 „	Aristaenetos	Aristainetos
149	18 снизу	VI,	IV,
150	5 и 6 сверху	гекатомбия	Гекатомбиона

Византийская любовная проза


65 коп.
ИЗДАТЕЛЬСТВО
« НАУКА »